

[Polaris]

В. Поздняков



СЛУЧАЙ НА УЛИЦЕ КАПУЦИНОВ

Рассказы

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

LXXVII



Salamandra P.V.V.

В. Поздняков

**СЛУЧАЙ
НА УЛИЦЕ
КАПУЦИНОВ**

Рассказы

Salamandra P.V.V.

Поздняков В.

Случай на улице Капуцинов: Рассказы. Подг. текста и послесл. М. Фоменко. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2015. — 144 с., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. LXXVII).

В книгу включены все дошедшие до нас научно-фантастические произведения В. Позднякова, недолго публиковавшегося советского писателя-фантаста конца 1920-х годов. Рассказы Позднякова близки к западной фантастике и поражают своим тематическим разнообразием: здесь и предвидение мировой войны, и небывалое оружие, и неудавшийся палеоконтакт, и ученые-убийцы...

© М. Fomenko, подг. текста, послесловие, 2015

© Salamandra P.V.V., оформление, 2015

ЧЕРНЫЙ КОНУС

Рис. Н. Дормидонтова



ГЛАВА 1.

Мастерские профессора Шольпа

— Одним словом, мистер Макс, если дело будет и дальше идти так, все полетит к черту! — и Бакич, рубанув в воздухе вытянутой вперед ладонью, кивнул в сторону застекленной двери налево.

Макс Шольп, высокий и бледный молодой человек, тоже посмотрел на дверь и тяжело вздохнул. С самого раннего детства эта дверь в жизни его и всех домашних занимала огромное место, превращаясь по временам в своеобразное «табу», о котором говорили шепотом, около которого ходили на носках, стараясь не шуметь — застекленная дверь в конце коридора.

— Вы знаете, мистер Макс, — продолжал Бакич, пригибаясь к собеседнику и таинственно приподнимая брови, — он за последнее время почти не пускает меня ни в кабинет, ни в мастерские. Я из его секретаря превратился в какого-то парня, которому изредка разрешают потоптаться на пороге, исполнить какое-нибудь пустяковое поручение, — и только. У нас сейчас в мастерских идет такая возня, какой раньше никогда не бывало... Сверлят, полируют, точат — и просто мешают друг другу... И, главное мистер Макс, никто, да-

же Мюлов, не знает, что мы такое сооружаем... Ведь вам знакома милая манера вашего папаши — никого не посвящать в свои тайны до поры до времени, а затем преподнести миру такую штуку, на которой репортеры в три дня набирают столько денег, сколько ваш покорный слуга едва заработает в год.

— Послушайте, Бакич! — устало проговорил Макс. — У вас тоже очень милая манера во всяком деле обращать внимание на денежную сторону. Уверен, что на другой день после Варфоломеевской ночи вы бы стали подсчитывать убытки гугенотов.

Бакич ответил принужденным смешком.

— Преувеличиваете, мистер Макс! Ну да, впрочем, не в этом дело. Я вызвал вас на этот разговор только потому, что, как вы, может быть, и сами заметили, с вашим отцом творится что-то неладное... Он невменяем. Кричит, волнуется из-за каждого пустяка и чудачит. Вчера, после того, как мистер Андерсон показал ему только что выточенную какую-то не то втулку, не то трубку, он сначала прощупал ее со всех сторон измерительным циркулем, а потом схватил Андерсона и прошелся с ним по мастерской фокстротом. И было не смешно! Когда такие люди, как профессор Шольп, танцуют фокстрот, — жутко, мистер Макс!

Застекленная дверь кабинета внезапно отворилась, и в проеме ее, засунув, руки в карманы, показался профессор Шольп, маленький, сухой, с целой копной седых волос, похожий на Момзена старик.

— А вы все врете, Бакич! — неожиданно сильным для его маленькой фигуры голосом сказал он.

Бакич встал. Почтительно наклонившись к Шольпу, он придвинул к нему освободившееся кресло.

Тот отрицательно мотнул головою.

— Вот что, Макс! — медленно и задумчиво начал он. — Теперь и вы, Бакич, можете слушать. Если произойдет на этих днях нечто, что встряхнет немного человеческий муравейник, то все это, — он указал рукою по направлению кабинета и мастерских, — придет оттуда.

Бакич насторожился. Как понтер на стойке, он весь потянулся к Шольпу, и в глазах его мелькнул жадный огонек. Профессор внимательно посмотрел на него, потом хитро улыбнулся и продолжал:

— Бакич, я вам сейчас покажу что-то, чем вы будете изумлены чрезвычайно! — Шольп пошарил в кармане, Бакич затаил дыхание и уставился на руку профессора.

Тот продолжал шарить. Бакич не дышал, весь побледнев от напряженного ожидания.

И вдруг, резким движением выдернув руку из кармана, Шольп выбросил к рысьему лицу Бакича обыкновенную комбинацию из трех пальцев — старческих, маленьких, как у ребенка, и обтянутых пергаментной кожей пальцев.

Бакич зашипел. Шольп рассмеялся неприятным стариковским смехом, погрозил Бакичу пальцем, повернулся и направился в кабинет. Дверь щелкнула и глотнула его; так собака, щелкнув зубами, глотает на лету брошенную ей подачку.

Вечерело. В открытое окно холла врывался аромат угасающего июльского дня, — пахло вялой травой скошенных газонов сада — типичного английского ландшафтного сада, с сетью причудливых, извивающихся, посыпанных желтым песком дорожек. Сочно и мягко щелкала травокосилка, которую катал садовник около окон.

Молодой Шольп решил переговорить с ближайшим помощником отца, инженером Мюловым, расспросить его о том, что делается в мастерских. Отец, скупой на разговоры о своих делах, за последние три месяца и совсем перестал делиться с ним своими мыслями и проектами.

Мюлов, вместе с прочими, работавшими в мастерских, должен был пройти через сад к станции, чтобы ехать в город. Станный человек был этот Мюлов: корректный, медлительный в движениях, он представлял собою ходячую схему прописных добродетелей. — Стопроцентный немец, аккуратный до педантизма, все в его натуре было пригнано точно, прочно и убедительно.

Прозвучал электрический звонок; с этим сигналом прекращались работы в мастерских. Через две-три минуты из-

за угла дома показались рабочие, человек пятнадцать, и прошли через боковую калитку к шоссе.

Вышел мастер Андерсон, великан и толстяк, человек, которому Макс очень симпатизировал, милейшая личность, золотые руки и, насколько его знали все окружающие, — такое же золотое сердце. Он приветливо поздоровался с Максом и явно с холодком — с Бакичем.

— Скажите, дружище Андерсон! — начал Макс. — Вот ко мне сейчас пришел мистер Бакич и сказал, что мой отец за последнее время не совсем... здоров. Вы его видите чаще, чем мы. Может быть, и вы что-нибудь заметили?

При каждом упоминании о Шольпе Андерсон выражал на своем толстом и красном лице ту степень уважения и преданности, с какой действительно относился к профессору. Он косо посмотрел на Бакича.

— Ну так что же, мистер Шольп! — загораясь энтузиазмом, воскликнул Андерсон. — Что бы с ним ни случилось, а уж я его не оставляю.

Ответ был не совсем по существу, но больше Макс не спрашивал. Попрощавшись с Андерсоном, он пошел навстречу Мюлову. Тот, как всегда, застегнутый, несмотря на теплый летний вечер, на все пуговицы своего пальто, шел с таким видом, как будто производил шагомерную съемку.

— Добрый вечер! — сухо поздоровался Мюлов, смотря куда-то мимо Макса своими бесцветными, немного косящими глазами. На вопрос Макса о работах отца он подумал, пожевал губами и, с едва уловимой ноткой раздражения, заметил:

— Герр Шольп работает сейчас над аппаратом, которому, судя по всему, придает исключительное значение. Я за последнее время почему-то лишен чести быть его доверенным. Сейчас выполняю задание по отдельным чертежам, общего назначения которых не знаю.

И, приподняв шляпу, добавил:

— Будьте здоровы-с!

— Настоящая цапля! — подумал Макс, провожая глазами продолжавшую шагомерную съемку фигуру.

— Хорошо зарабатывает! — вздохнул Бакич, срывая с клумбы гвоздику и вдевая ее в петлицу.

Все это происходило в пятнадцати милях от Лондона и в трех минутах ходьбы от одной из промежуточных станций Чатам-Дуврской железной дороги, в Мертон-гаузе, участке, принадлежавшем профессору Шольпу. На этом участке стоял небольшой двухэтажный каменный дом с садом вокруг него, соединенный коротким застекленным коридором, ведущим из холла, с лабораторией — кабинетом профессора и его мастерскими, полу-исследовательского, полу-промышленного типа. Слишком богатый, а, главное, слишком большой ученый, чтобы извлекать исключительно коммерческую пользу из своих изобретений, профессор Шольп часто ставил дорогостоящие опыты, не окупаемые материально. Работавший преимущественно в области электротехники, он на своем шестидесятилетнем веку сделал много изобретений, начиная с мелких усовершенствований в скромных карманных батарейках и кончая сложными электрическими установками громадных напряжений.

Обладая необычайной трудоспособностью, могучим умом и волей, он сумел сделать свое имя известным каждому мыслящему человеку. Понимая большое практическое значение своей работы, он тщательно выбирал себе помощников, и если выбрал в число их и Бакича, то только вследствие упорных и униженных просьб с его стороны.

Этот, растерянно бродивший на задворках науки и мучившийся над микроскопическими техническими вопросами полу-серб, полу-молдаваин, выполнял у него секретарскую работу, которую сам Шольп старался сократить до минимума.

Инженер Мюлов был приглашен Шольпом из-за его, действительно, замечательной методичности, упорства в

разрешении поставленных перед ним задач и исключительной работоспособности.

Но все же, если Мюлову и суждено было остаться на решетке истории и не просеяться, вместе с прочей человеческой мелочью, в неизвестную тьму, то только потому, что судьба зацепила его скромное имя за крупное имя Шольпа.

Сын Шольпа, Макс, как сыновья почти всех выдающихся людей, был самым обиденным человеческим типом, — природа слишком долго и любовно работала над отцом, чтобы продолжать эту творческую работу и над сытом.

Два другие, старшие сыновья-близнецы профессора, были убиты в последний год великой войны. Макс смутно помнил, что смерть их произвела большую перемену в характере отца, — прежде веселый и радостный, он замкнулся в себе, стал нелюдимо и с головою ушел в свое дело, и Макс вырос тихим, немного болезненным и флегматичным молодым человеком, предоставленным самому себе.

Мать его умерла давно, и все хозяйство дома вела его няня, подвижная старушка Марта. И если профессор Шольп царил в своей лаборатории и мастерских, то она, со своими громохочущими ключами и ослепительно белыми, накрахмаленными, твердыми, как жезл, наконечниками царила во всем остальном доме.

Не будь Марты, единственной женщины в доме, все пошло бы своим естественным порядком, — к бестолочи и запустению. Ходили бы оборванные, удивлялись бы кражам (если бы только их замечали), забывали бы есть.

Прошла неделя. Вернувшись в первом часу ночи из города, Макс лежал, не раздеваясь, на кровати и обдумывал все то, что произошло за последние дни.

События шли, все ускоряясь в своем беге, с неумолимой и, как казалось Макс, жуткой последовательностью.

Отец почти не ложился спать. Все ночи проводил он в лаборатории, и, по щели между рамой окна и тяжелыми, плотными шторами, можно было судить, что он то зажигает, то почему-то тушит свет. Временами, заглушенные дверьми, слышны были звуки его дикой, свидетельствовавшей о полном отсутствии музыкального слуха, песни.

В мастерских все буквально сбились с ног. Шольп तोропил рабочих, суется у машин, и раз чуть было не попал рукой в приводной ремень фрезерного станка.

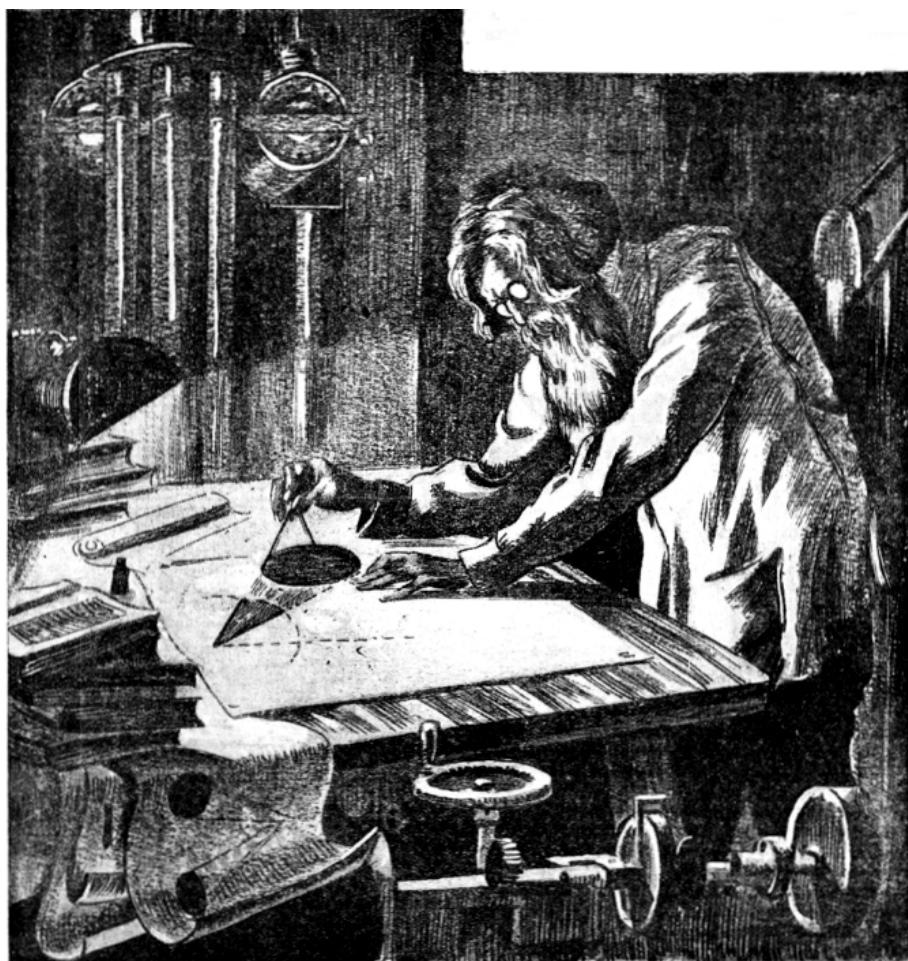
Андерсон не отпускал его ни на шаг, одним своим неизменно добродушным и безмятежным видом успокаивая его, принимал вместе с ним отдельные готовые части от рабочих и отсылал их в сборочную. Там, в одном жилете, со зловонной сигарой в зубах, Мюлов с двумя монтерами, не теряя своего методического, солидного вида, собирал по чертежам Шольпа аппарат, назначение которого еще не понимал никто.

Потом Андерсон был послан отцом в город, пропадал там два дня, а на третий день на лужайку около дома мягко снизился моноплан с веретенообразным, окрашенным в голубой цвет корпусом и такими же почему-то голубыми крыльями. Из него вылезли Андерсон и пилот. Аэроплан вкатили в расположенный рядом с мастерскими сарай, и пилот сейчас же уехал в Лондон.

На следующий день около аэроплана стал возиться Андерсон с тремя рабочими, — из сарая доносился шипящий звук сверл и звонкие удары по металлу.

...А сегодня случилось нечто, до такой степени нелепое, что и сейчас, лежа на кровати, Макс, при воспоминании об этом, чувствовал, как к сердцу подползало что-то и сжимало его невидимым, неожиданным и грубым прикосновением.

Днем из кабинета отца раздались отчаянные крики, — кричал он, кричал так, как может кричать человек только в состоянии доходящего до иступления раздражения, — и вдруг дверь кабинета с треском распахнулась. Из нее, с выражением ужаса на своем рысьем лице, как пуля, вылетел Бакич, а за ним Мюлов. Всегда корректного, уравновешен-



ного немца узнать было нельзя: со сбившимся галстуком и одетым в один рукав пиджаком, он, бледный и взволнованный, с косящими больше обыкновенного глазами, прибежал, вместе с Бакичем, через холл в сад. За ними выбежал отец с каким-то металлическим стержнем в руках. Красный, неистово кричащий, растрепанный, с дергающимися движениями рук и ног. Когда Бакич и Мюлов пробежали сад и скрылись на повороте шоссе, из мастерской, наперерез отцу, мелкой рысцой, отдуваясь и тяжело неся свое шестипудовое тело, бросился Андерсон и мягким и вместе с тем сильным движением обхватил его.

— Одну минуточку, мистер Шольп, одну минуточку! — с убеждающим шепотом наклонился он над ним.

— К черту, Андерсон! — вскрикнул тот, стараясь вырваться, но сильные руки мастера держали его крепко и нежно; так держит мать разбушевавшегося ребенка, оберегая его от ушибов. — К черту, Андерсон, — повторил он через несколько секунд, но уже робким, смиренным тоном. — О, мерзавец, мерзавец! — с тоской закончил он и вдруг, прижавшись к широкой груди Андерсона головой, заплакал.

Андерсон, все так же обнимая, повел его обратно к дому.

Макс хотел было подойти к ним, но Андерсон отрицательно покачал головой.

Вечером же, после работ, мастер пришел к нему в его комнату.

— Мистер Шольп, — начал Андерсон, осторожно опускаясь в подставленное ему Максом кресло, — сегодня рассчитал рабочих и, как вы сами видели, выгнал мастера Мюлова и Бакича. Я — человек необразованный, учился на медные деньги и боюсь давать какие бы то ни было советы. Давайте, подумаем вместе...

И они долго, взволнованно говорили о том, что предпринять, и решили — Андерсон не вернется в город, а останется с профессором, стараясь не упускать его из виду, а Макс поедет в Лондон, к Мюлову, чтобы узнать от него подробности странного происшествия. О том, что случилось у

профессора с двумя его помощниками, Андерсон ничего не мог сказать. Вот уж сутки, как Мюлов с профессором работали в сборочной, почти не выходя оттуда и требуя туда еду. Как очутился с ними Бакич, было совершенно непонятно.

Потом уже, сидя в поезде на пути в Лондон, Макс решил зайти к доктору Кролю, известному в Сити невропатологу и психиатру, чтобы поделиться с ним впечатлениями о состоянии отца, посоветоваться с ним, а если удастся, то и привезти его в Мертон-гауз.

Мюлов встретил его в халате, с головой, повязанной, наподобие чалмы, мохнатым, пахнувшим уксусом, полотенцем. На просьбу Макса рассказать о случившемся, он ответил неожиданно резким отказом.

— Я слишком взволнован всей этой... — он приостановился, подыскивая выражение, — Schweinerei, — закончил он по-немецки, — чтобы давать какие бы то ни было объяснения. Мне противно вспоминать об этом.

Когда он выходил от Мюлова, навстречу ему попала стая одетых в синее мальчишек-газетчиков с вечерним выпуском «Трубы» — грошовой газеты-сплетницы, падкой до всевозможных сенсаций.

— Кошмарное убийство в Айлингтоне! — кричали они на ходу. — Матч Джонса с Кеем! Сумасшествие профессора Шольпа!

И когда изумленный Макс почти вырвал из рук мальчишки еще сырой и пахнувший краской номер и лихорадочно развернул его, — со второй страницы сверху закричало на него набранное жирным шрифтом объявление:

Редакции передали из самых солидных источников, что наш знаменитый соотечественник, краса и гордость английской науки, профессор Шольп внезапно сошел с ума. Подробности завтра, в утреннем номере».

— Это дело Бакича! — молнией пронеслось в его пылавшем мозгу. — О, негодяй! — воскликнул он, комкая газету и бросая ее на тротуар.

А полчаса спустя, когда он звонил у двери д-ра Кроля, у него было такое чувство, как будто его несчастного, такого чужого и вместе с тем нежно любимого им отца раздели и выставили на осмотр тупо глазающей толпы.

Кроль внимательно выслушал его, останавливаясь на тех деталях, которые казались Максу несущественными, и, наоборот, совершенно не обращая внимания на внешнюю сторону событий, расспросил о родственниках, дедах и бабках, и о самом Максе, пристально смотря на него своими умными, холодными глазами.

На просьбу Макса поехать сейчас же в Мертон-гауз он ответил отказом, заявив, что приедет туда завтра, в час дня.

Долго бродил Макс по Лондону, не решаясь ехать домой, — хотелось уйти хоть ненадолго от такой сложной, запутанной и, как ему казалось, зловещей домашней обстановки.

С Оксфорд-стрита, где жил Кроль, он свернул в Гайд-парк, долго гулял в нем, а затем, перейдя Вестминстерский мост, почти у самого Хрустального дворца, усталый и разбитый, прошагав половину Лондона, сел в такси и поехал домой. Дома его встретила Марта и сказала, что отец с Андерсоном заперлись в сборочной, работают и мирно беседуют.

— Я несколько раз приходила, — сказала она, — через сад к окнам сборочной и слушала. Все, кажется, благополучно. А вы ложитесь, Макс! На вас и лица нет.

Долго лежал он, смотря через окна на синее бархатное небо с раскинувшейся по нему серебряной шалью Млечного пути, на живой трепет звезд. Но вот, наконец, закружились в его сознании отдельные отрывки событий и слов, и, разрывая газетный лист, вынырнула лисья голова Бакича, стала пухнуть и вытягиваться, — и уже не Бакич глядел на него из мутной тьмы, а Кроль, в огромной, пахнувшей уксусом белой чалме. — Кошмарное убийство в Айлингтоне. — Schweinerei! — кричал Кроль. Потом Кроль, превратившийся в Мюлова, синий мальчишка-газетчик и появившийся откуда-то Андерсон схватили блестящий металлический стержень и стали вырывать его друг у друга. Стержень упал с оглушительным лязгом.

Макс сразу проснулся от этого звука и понял, что это — лязг ключей Марты, стремительно подымавшейся по лестнице. Потом лязг внезапно смолк. Макс открыл глаза. Было совершенно темно.

— Который теперь час? — подумал он и нащупал выключатель, чтобы взглянуть на часы. Выключатель щелкнул, но электричество не зажглось. Немного удивленный, он чиркнул бензиновой зажигалкой, но она не загоралась. Он чиркнул еще раз и привычным движением прикоснулся большим пальцем к фитилю, пробуя, не высох ли бензин, — и вдруг острая, как от ожога, боль, кольнула его в палец.

Он почувствовал, как сразу обмякло его тело, колени задрожали, и мучительное чувство недоуменного ужаса поползло по коже спины и головы, шевеля волосами. — Что это, что это?... — шептали губы, и, весь в холодном поту, он вскочил с кровати и бросился из комнаты.

На площадке лестницы кто-то охал.

— Кто там? — окрикнул он.

В ответ ему понеслось тихое всхлипывание. Осторожно нащупывая каждый шаг, он пошел по этому звуку, и нога его уперлась во что-то мягкое. Он наклонился и нащупал голову и плечи, — Марта сидела на полу лестничной площадки и, закрыв руками лицо, покачивалась взад и вперед.

— Ох, ох! — всхлипывала она, и при каждом ее покачивании бренькали ключи.

— Что это, Марта? — спросил Макс, но Марта ничего не ответила ему. И, близкий к обмороку, Макс сполз около нее на пол, смотря широко открытыми глазами в непроглядную тьму... Он почувствовал, что дрожит весь мелкой, противной дрожью, и не только от страха, но еще и от чего-то другого. — Как холодно! — догадался он.

Действительно, холод все усиливался. А напряженная тишина зловещей тьмой сковала этих двух сидящих на полу и близких к обмороку людей...

И вдруг резкий свет ударил их по глазам. Будто кто-то навел на них ослепительный прожектор: стало светло, как

днем. И это, действительно, был день, солнечный июльский благословенный день.

— Что же это, Марта? — опять повторил Макс.

Марта стала рассказывать. Взволнованно, захлебываясь остатком слез, повторяя и не договаривая слов, она рассказала Макс, как в седьмом часу утра Шольп и Андерсон вытащили из помещения сборочной какой-то большой ящик и, волоча его по земле, втянули в сарай, где стоял аэроплан. Долго возились они там; она успела прибрать несколько комнат, спуститься за провизией в ледник, выдать ее повару и заказать утренний завтрак. «Баранье рагу и кокиль из форели», — припомнила, вздыхая она. Это, такое обыденное, будничное, сразу успокоило ее и рассказ стал более связным.

— Пробыла я на кухне часов до девяти. Ведь вы знаете нашего Матвея! Чуть отвернешься, он сейчас какую-нибудь пакость выкинет: или вино прямо из горлышка хлебнет, или начнет пробовать пальцами свою стряпню. И уж хотела я собрать все на подносе и снести в кабинет, как услышала треск аэропланного мотора. «Никак лететь собрались», — подумала я. И, действительно, минуты две мотор трещал с перебоями, а потом звук сдвинулся с места и стал все тише и тише.

— А как же быть с завтраком? — спохватилась я и побежала из кухни посмотреть. Не успела сделать и трех шагов, как вдруг этот ужас! Стало темно сразу, как будто кто-то схватил солнце и положил себе в карман. Господи, господи! — закачалась опять Марта, и слезы потекли по ее старческому, изрезанному морщинами лицу.

— Обезумела я и, натыкаясь на стулья, побежала наверх, к вам, Макс! А на последней ступеньке ноги не выдержали, и упала я, старая, коленку расшибла.

Тут только Макс заметил, что они продолжали сидеть на полу. Он встал и, бережно приподняв старуху, поставил ее на ноги.

Совершенно обессиленная, прошла она к себе в комнату и прилегла на кровать. Макс спустился вниз и прошел через сад к сараю. Ворота его были раскрыты, и от них шли

две свежие колеи колес аэроплана, — видно, ночью шел дождь. Футах в тридцати от сарая земля была притоптана, а начиная с этого места, колеи становились все мельче и мельче, пока, наконец, футов через пятьдесят, не исчезли совсем. Тут аппарат оторвался от земли.

Загадочно молчали пустые мастерские. Макс подошел к двери сборочной и повернул ручку. Она не была заперта. На полу валялись инструменты, обрывки проволоки, металлические стружки, а на табурете, у окна, лежала рабочая блуза Андерсона. Макс через следующее помещение прошел в кабинет отца; дверь его была тоже не заперта. В нем царил тот невообразимый хаос, который свидетельствовал о непрерывной, лихорадочной деятельности в течение многих дней, — когда некогда было есть, когда некогда было спать. На длинном чертежном столе лежала груда свернутых рулонами чертежей. Макс внимательно осмотрел комнату — камин, несмотря на июльские жаркие дни и теплые ночи, был полон серого, нежного пепла, — в нем что-то жгли.

А на письменном столе, с единственной карточкой двух убитых братьев Макса, прижатая пресс-папье, лежала бумага, исписанная разметанным, торопливым почерком отца.

Макс нагнулся и с трудом разобрал следующие слова:

«Угол выхода — 15° . При высоте 1000 метров, диаметр пятна около шестисот метров. Надо выше, выше, выше, — и да здравствует “Черный конус”!».

ГЛАВА 2-ая

Мосье Жорж Делобэль, коммивояжер из Парижа, молодой человек с бесподобно закрученными черными усами, делал вид, что внимательно рассматривает картину Мантеньи «Триумфальное шествие Цезаря».

Целый час слонялся он по залам Кенсингтонского музея и невыразимо скучал. Было жаль шиллинга, шикарно про-

тянутого сторожу у вешалок за трость и канотье, — и хотелось есть.

Он осмотрелся и увидел рядом с собою изящно одетую девушку, безучастно, как ему казалось, рассматривавшую ту же картину.

Инстинкт настоящего француза подсказал ему возможность приятного, заманчивого приключения.

— Попробуем... — решил Жорж Делобэль.

— Какой очаровательный ангелочек! — с хорошо разграниченным восхищением, полуоборотясь к девушке, заметил он.

Та взглянула на него и, видимо, оценив по достоинству его внешность, подняла брошенную перчатку.

— Какой ангелочек? — спросила она, смотря на него своими голубыми, опушенными длинными ресницами, глазами.

— Вот там, справа, у колесницы!

И, скользая, как корова на льду, пустился в экскурсию в область искусства.

— Эта лошадка, — заметил он, указывая мизинцем, — конечно, условна. Такой шеи у лошадей не бывает, но...

...И вдруг черная, непроглядная тьма с быстротой молнии обрушилась на него. И сразу стало тихо, как в склепе. Напряженная, нарушаемая только шумом бешено запульсировавшей крови в ушах, тишина. И тьма...

Девушка схватила Делобэля за руку, — испуганным, быстрым движением. И из разных концов залы, как после долгого, тяжелого сна, послышались робкие и неуверенные, полные невыразимого ужаса, восклицания... А затем, топоча ногами, плача, истерически взвизгивая, со все увеличивающимся шумом, как поток лавины с гор, все это стало метаться во тьме. Бились о стены люди, не находя выхода, сталкивались друг с другом, падали на пол, вставали, ударяемые сотнями ног, снова падали, избитые, обессиленные, обезумевшие...

Делобэль с силой стал отрывать вцепившуюся в него девушку и несколько секунд боролся с ней. Потом, внезапно озлобясь, резким бешеным движением бросил ее на пол.

Натыкаясь на метущихся людей, работая кулаками направо и налево, ударяя в лица, груди, затылки и просто в черную, зияющую тьму, он кинулся вперед, наталкиваясь на стены, меняя направления, — и, когда, наконец, нога его, занесенная в воздухе, упала куда-то, не встретив опоры, он, оступившись, покатился вниз по лестнице. Ослепительный свет ударил ему в лицо.

Он беспомощно оглянулся кругом. Сверху, перепрыгивая через несколько ступеней, как вытряхнутые из гигантского мешка, стремились люди. И человеческий поток вынес его на улицу... На ней царил хаос. Опрокинутый омнибус, окутанный едким облаком бензинового дыма, разбросал по мостовой пассажиров; одни из них стонали и бились, стараясь приподняться, другие в странно-спокойной позе, казалось, спали на земле. И Делобэль вспомнил, как, будучи ребенком, в Кретеиле, за день до знаменитой битвы на Марне, он видел такую же картину, когда шестидюймовый немецкий снаряд, шипя в воздухе, как масло на сковороде, обрушился на соседний дом, — так же бились одни, так же спокойно уснули другие.

...Вздыбленные у стен домов, столбов, фонарей и киосков, перевернутые вверх колесами, брошенные набок автомобили, автомобили без конца. Разбросанные тюки и ящики грузовиков, и люди — метущиеся, бьющиеся и мертвые люди.

Делобэль сделал несколько шагов дрожащими, мягкими, как резина, ногами и вдруг, в непосредственной близости от себя, увидел странное, нелепое существо. С лицом в крови, с закрытым громадной опухолью глазом, бледное, в разорванной одежде, — оно шло на него. И тут Делобэль понял, что это — он сам, отраженный в зеркале магазина, почувствовал глухую, ноющую боль во всем теле, солоноватый вкус во рту. Выплюнул — кровь... И, поднеся к губам руку, убедился, что половины его ровных и белых, как протез дантиста, зубов — уже нет.

— *Слушайте! Слушайте! Слушайте!* — кричали в сгрудившуюся на углах улиц и площадей толпу черные пасти громкоговорителей. — *Слушайте, граждане Лондона! Се-*



годня, в пять часов дня, над городом разразилось несчастье!.. Внезапно померкло солнце, и наступила тьма в самый разгар уличного движения... Много человеческих жертв! Точное число их еще неизвестно... Каждую секунду к нам приходят со всех концов Лондона ужасные, потрясающие известия... Масса жертв на улицах, задавленных, выброшенных из авто, omnibusов людей! Паника в присутственных местах, вокзалах, музеях. Граждане! Соблюдайте спокойствие! В случае повторения тьмы, сразу останавливайтесь, где бы вы ни были, тормозите ваши авто, экипажи, велосипеды и ждите... видимо, тьма кратковременна....

— Граждане Лондона, слушайте! Много произведений искусства повреждено в темноте обезумевшей толпой, в том числе «Чудесное явление» Рафаэля — в Кенсингтонском музее, «Мадонна со св. Анной» Леонардо да Винчи — в Академии... Масса случаев грабежей и убийств! На Черинг-Кросском вокзале убит почтенный мистер Бьют, председатель Карльтон-клуба... Горе несчастной семьи не поддается описанию... Около Манишон-гауза ограблен мистер Добби, артельщик Национального банка! Похищено 10.000 фунтов... В Камберуэлле разграблен опрокинувшийся грузовик с табаком, в Вульвиче — с мануфактурой...

— Граждане Лондона! Слушайте! Слушайте! Постепенно выясняется природа загадочного явления! Население Ватфорда, Виндзора, Кингстона и других окрестностей видело, как около пяти часов дня на Лондон встал огромный, около двух миль в высоту, около мили в основании, черный конус! Он вершиной упирался в облака, а основание его скользило по городу, с юга на север! Он двигался со скоростью примерно трех миль в час, причем основание его опережало вершину, и он стал наклоняться... Потом так же внезапно исчез...

— Граждане Лондона! Слушайте! Сейчас нам сообщили удивительную вещь. За две минуты до появления Черного конуса в Хамертоне начался пожар. Горел деревянный дом. Когда наступила тьма, огонь внезапно погас!

Но, граждане Лондона, слушайте, слушайте, слушайте!! Огня не было видно, хотя он продолжал гореть. Был слышен треск горевшего дерева, к дому нельзя было подойти из-за ужасной жары. Под брандспойтами, которых герои-пожарные не выпускали из рук, шипело и ревело пламя. Но, граждане Лондона, огня не было видно, кругом была непроглядная тьма...

Как зачарованные, толпились жители Лондона около громкоговорителей. Не сиделось в домах, — все время из металлических горл неслись потрясающие, сверхъестественные вести.

За все существование Лондона жители его не были взволнованы так, как сейчас. Были войны, пожары, чума и восстания, опустошавшие его около двадцати раз, были величайшие потрясения — но никогда не висело над ним такой фантастической, сверхъестественной тайны, как в этот чудный июльский вечер.

— *Слушайте! Слушайте! Слушайте! Черный конус несетя сейчас над Францией! Он погрузил во тьму Калэ, Амьен, Аржантейль, пронесся над Парижем и мчится к югу. В Дижоне потухло уличное и домовое освещение, у Безансона, из-за неперевода стрелки, курьерский поезд Париж-Женева налетел в темноте на тупик — сотни убитых и раненых!*

А в десять часов батарея металлических горл проревела:

— *Слушайте! Слушайте! Слушайте!*

— *Правительства его величества короля Великобритании, Франции, Италии и Германии организовали Совет обороны. Заседание Совета состоится завтра в 8 ч. 30 м. утра, в Вестминстерском дворце, комната сто тридцать восемь, телефон три, два нуля, шестнадцать. Всем, кто может сообщить что-нибудь, хотя бы в малейшей степени разъясняющее тайну Черного конуса, надлежит явиться немедленно туда... Несообщение будет караться со всей строгостью законов военного времени! Вестминстерский дворец, комната сто тридцать восемь, телефон три, два нуля, шестнадцать. Вестминстерский*

дворец, комната сто тридцать восемь, телефон три, два нуля, шестнадцать...

Совет обороны составляли: лорд-мэр города Лондона, сэр Ричард Финиган, старик чопорный, дородный и важный, — как и подобает быть человеку, имеющему право воспретить въезд в Лондон даже самому королю¹; представитель военного и морского министерств, генерал лорд Сесиль Пэджет, потомок ватерлооского героя, лишившегося в этой битве ноги, и сам потерявший в шестнадцатом году у Арраса левую ногу и правый глаз, — красный, весь налитый кровью, брызжущий здоровьем толстяк, и профессор физики политехнического института, унылый, высокий и черный, как галка, доктор Джон Гуденуф, враг теории относительности и ненавистник Эйнштейна, прогремевший своим сочинением — «Мировой эфир как абсолют».

В последнюю минуту архиепископ кентерберийский потребовал участия в Совете представителя церкви, ибо, по его мнению, в явлении Черного конуса не исключена возможность божественного начала, а из Франции прилетел представитель военного ведомства, майор Рауль Малуро.

— Джентльмены, — начал сэр Финиган, положив руку на колокольчик и торжественным взглядом обводя присутствующих. — Начнем, джентльмены. Над Европой пронеслось замечательное явление, которое уже приобрело себе имя — Черный конус, гигантский Черный конус тьмы! Какие последствия он вызвал, какие бедствия постигли ряд городов — в общем, известно всем. Подробности несущественны. Нам надлежит наметить линию борьбы с загадочным, разрушительным явлением. Слово принадлежит нашему гостю, представителю Франции, майору Малуро.

— Разрешите потом, — сказал майор, щелкнув шпорами.

¹ Право лорд-мэра, имеющее, правда, формальное значение.

Сэр Финиган незаметно пожал плечами.

— В таком случае, прошу высказаться представителя церкви, достопочтенного д-ра Патиссона.

Д-р богословия Вильям Патиссон, ласковый, робкий старичок, откашлялся, из уважения к высокому собранию прикрыв рот рукой, и немного шепелявившим, тихим тенорком начал:

— Когда Иисус Навин остановил солнце, толпы народа взирали на это с величайшим изумлением... Так и сегодня толпы народа взирали на этот Черный конус.

Генерал Пэджет наклонился к доктору Гуденуфу и сказал шепотом:

— Черта с два тут повзираешь в такой тьме кромешной! У меня до сих пор затылок болит: какой-то бродяга сшиб меня, когда я переходил Патерностер.

— Ваши соображения? — спросил сэр Финиган, обращаясь к д-ру Патиссону и бросая строгий взгляд на генерала.

Д-р Патиссон беспомощно оглянулся кругом, как бы ища поддержки. Генерал неистово потирал затылок, майор Малуро сидел вытянувшись, как на смотру, д-р Гуденуф склонил голову набок и ехидно, как показалось Патиссону, смотрел на него.

— Не будем соблазнять господ бога, раскрывая небесные тайны его! — робко заметил он.

— Сэр Пэджет, слово принадлежит вам! — сказал Финиган.

— Чертовская штука! — оживился генерал. — Замечательная вещь! Если бы армия его величества обладала этой чертовщиной, она бы в два счета расправилась со своими соседями!

Майор Малуро многозначительно крикнул. Генерал смутился и полез в карман за платком.

— М-р Гуденуф, — с полувопросом обратился к ученому сэр Ричард. Д-р Гуденуф еще больше склонил голову набок и, смотря сквозь черепаховые очки, напомнил собою какую-то важную, круглоглазую птицу.

«Сейчас клонет»... — подумал генерал.

— Эфирная теория света Гюйгенса... — начал было д-р Гуденуф, как вдруг дверь кабинета отворилась и, балансируя в воздухе руками, на цыпочках к сэру Финигану подошел курьер.

— Двое джентльменов желают дать показания по делу Черного конуса! — почтительно наклонясь к уху лорд-мэра, заявил он.

Сэр Финиган на минуту потерял свою невозмутимость и с нетерпением посмотрел на дверь.

В комнату вошел, размеренно шагая, инженер Мюлов, а за ним, видимо, подавленный торжественностью обстановки, ныряющим шагом — Бакич.

— С кем имею честь? — спросил сэр Финиган.

— Инженер Мюлов, ближайший сотрудник профессора Шольпа.

— Который сошел с ума! — подал реплику Бакич.

— Кто же, собственно сошел с ума: инженер Мюлов или профессор Шольп? — строго смотря на Бакича, недовольно спросил сэр Ричард.

— Профессор Шольп сошел с ума! — выдвинулся вперед Бакич. — Я — Бакич, его секретарь! Вчера профессор Шольп сошел с ума, выгнал меня и мистера Мюлова из своей лаборатории. Об этом даже в газете было напечатано.

— Я не понимаю, какое отношение имеет сумасшествие профессора Шольпа к Черному конусу? — сказал сэр Финиган.

— Профессор физики Шольп, — начал Мюлов, — в последнее время работал над аппаратом, назначение которого, как можно предполагать, было — парализовать, уничтожить все световые явления в районе его действия. Этот аппарат должен был создавать колебания, исключающие возможность движения электронов, обуславливающего явление света.

И в кратких словах рассказал о лихорадочной в последние дни деятельности мастерских, а также и о приобретении аэроплана — «для целей, недостаточно известных», — как заключил он..

Д-р Гуденуф весь вытянулся вперед.

— Как же так могло случиться, — ехидно заметил он, — что вас, ближайшего своего сотрудника и помощника, профессор Шольп ознакомил так поверхностно со своим изобретением?

— Видимо, у него были свои соображения! — мрачно ответил Мюлов.

Д-р Гуденуф возмущенно пожал плечами.

— Скажите, мосье Мюлов, за что вас и мосье Бакича выгнал профессор Шольп? — спросил до сих пор внимательно слушавший майор Малуро.

Мюлов покраснел. Бакич опять выдвинулся вперед.

— Мистер Мюлов — германский подданный! Он предложил, я слышал сам, ибо был невдалеке, — профессору Шольпу два миллиона марок за его изобретение, в случае, конечно, если оно оправдает возлагаемые на него надежды.

— Хороши небесные тайны! — вздохнул генерал Пэдджет, укоризненно глядя на д-ра Патиссона.

— Понимаю! — удовлетворенно заметил майор Малуро. — А вас, мосье Бакич, почему выгнал мосье Шольп? — повторил он свой вопрос.

— Герр Бакич, — резко заметил Мюлов, — обладая очень любознательным характером, не рассчитал силы сопротивления незапертой на замок двери и влетел в комнату во время нашего разговора.

Члены Совета переглянулись. Генерал Пэдджет хлопнул рукою по столу.

— Дело совершенно ясно! — воскликнул он, вращая единственным глазом. — Сумасшедший профессор Шольп на аэроплане со своим дьявольским аппаратом носится по всей Европе, оставляя за собою смерть и разрушение. Нужно немедленно ловить его, нужно мобилизовать все воздушные силы Европы, нужно положить этому конец.

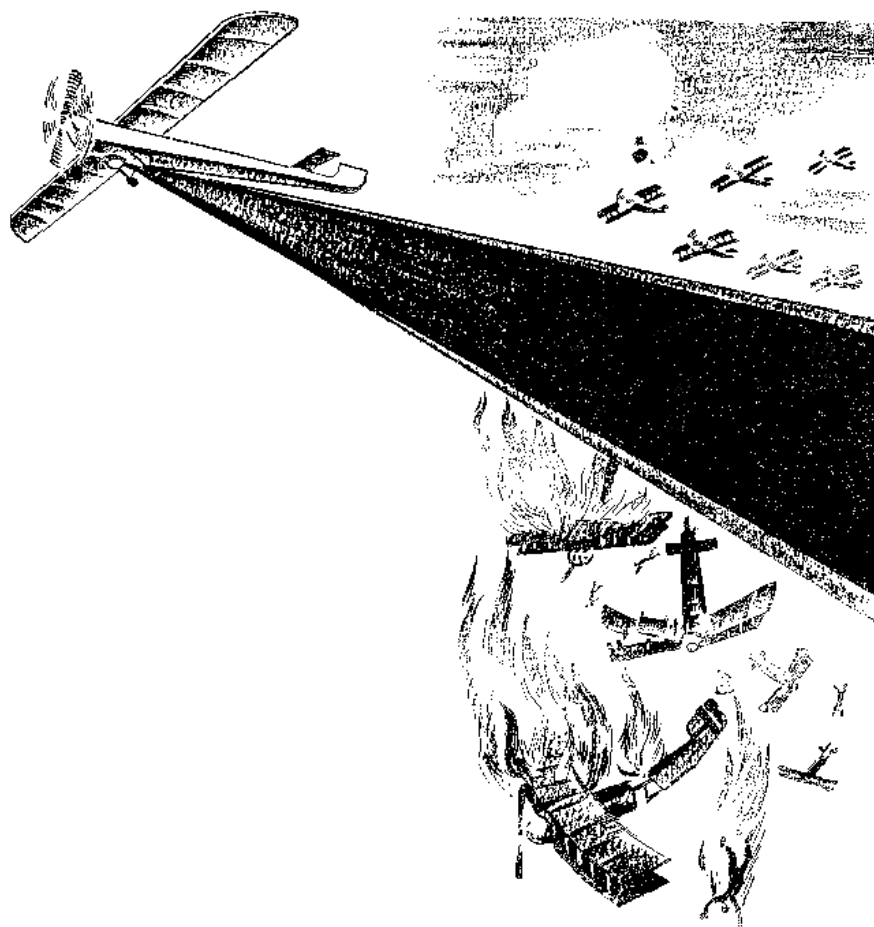
Все новые и новые сведения поступали в Совет обороны, и он, в свою очередь, оповестил весь мир о том, что знал. Тысячи аэропланов ждали сигнала, чтоб взлететь на небо, военные суда были приведены в боевую готовность, подняли свои хоботы воздушные батареи.

И, исчезнув на два дня, Черный конус появился над Римом. Жители Остии, Тиволи, Альбано и других окружающих Рим городов и местечек, вооружившись биноклями, заметили на его вершине голубую, почти сливающуюся с небом, точку аэроплана.

Когда Черный конус, сдвинувшись к северу, освободил Рим из цепких объятий тьмы, с римского военного аэродрома снялась эскадрилья истребителей и погналась за несущимся черным смерчем, — но вдруг Конус взметнулся кверху, ось его легла почти горизонтально, — и эскадрилью окружила непроглядная тьма. Зажигание моторов перестало действовать. Это новое обстоятельство, как факт огромного значения, было сразу учтено всем военным и техническим миром и, безуспешно стараясь выровнять кренящиеся аппараты, в абсолютной темноте и в ледяном, внезапно поднявшемся вихре, стали падать вниз, на невидимую землю, итальянские летчики один за другим.

А когда в Совет Обороны явился д-р Кроль и заявил, что своим именем крупного ученого он может поручиться за полную вменяемость профессора Шольпа, что он беседовал с его сыном и многими знавшими профессора, вошел во все детали его поведения последних недель, а потому констатирует великолепную наследственность, отрицает возможность помешательства на почве переутомления и совершенно исключает предположение о наиболее вероятной по первому взгляду *mania transioza*¹ — члены Совета растерялись. И если были среди них сомневающиеся в правильности диагноза д-ра Кроля, то показания Макса Шоль-

¹ Форма скоропроходящего помешательства, когда, среди полного здоровья, вдруг развивается картина бурного неистовства с омрачением рассудка.



па, заявившего, что вместе с его отцом улетел и мастер Андерсон, спокойный, уравновешенный человек, — рассеяли все сомнения.

Двое людей сойти с ума не могли. Тут была какая-то тайна, более волнующая, чем тайна самого изобретения.

— Ну, так в чем же дело?! — кричал генерал Пэджет, обращаясь к своим товарищам по Совету. — Если это не сумасшедший, то, значит, разбойник, анархист, коммунист!!

Слово вырвалось и поползло по Лондону тысячеустой молвой, возбуждая страстные споры, волнуя общество, смущая полицию.

Достопочтенный д-р Вильям Патиссон, продолжавший по инерции сидеть в Совете, несмотря на то, что версия божественности происхождения Черного Конуса потерпела жестокое поражение, совсем оробел. Он дрожал, вздыхал и пил стакан за стаканом содовую с вишневым сиропом.

Доктор Гуденуф тоже потерял голову. Различные теории света плясали в его мозгу дикий танец. Как сыч, сидел он на заседаниях Совета, расстроенный и злой, смотря на коллег через свои круглые черепаховые очки. Сэр Ричард Финиган был по-прежнему корректен и спокойно-величав: вчера он посоветовал своей супруге, леди Клэр Финиган, вынуть из сейфов Национального банка ее драгоценности и отправить их в Чикаго. На дне лорд-мэровской души маленьким паучком шевелилось сознание сделанной подлости, но он старался не обращать на это внимания. «Так спокойнее, — мало ли что может случиться?» — рассуждал он.

Германское правительство потребовало возвращения Мюлова на родину, — инженер, как добрый патриот и дисциплинированный немец, собрался в полчаса и первым парходом линии «Лондон-Гамбург» отплыл в Германию.

Для Бакича наступили блаженные дни. Те скромные десять фунтов, которые он, отчаянно торгуясь, получил в редакции «Трубы» за сообщение о сумасшествии Шольпа, выросли в сотни и тысячи фунтов долларов, франков, крон, марок, лир и пезет. И наглая, рысья физиономия появилась на страницах журналов и газет, замелькала, улыбаясь и раскланиваясь, на полотне кинематографов.

В витринах ювелирных магазинов появились жетоны, брошки и запонки, изображавшие Черный конус, — изящно сделанные из черной эмали треугольнички с крохотным голубым аэропланом на вершине.

Мазь для сапог «Черный конус», краска для волос «Черный Конус», материи, чернила, карандаши, мячики, цилиндры, ботинки, огнетушители — ко всему пристегнули предприимчивые коммерсанты название «Черный конус». Эти крестины стали захватывать все новые и новые, самые неожиданные предметы, пока, наконец, по приказу свыше, не был положен этому конец.

Шумливой, беззастенчивой толпой совершили нападение репортеры на Мертон-гауз, но Макс Шольп категорически отказался от дачи интервью, а на другой день, оставив на попечение Марты хозяйство, уехал в Питергэт, небольшой приморский город северной Шотландии, к одному из своих товарищей по школе.

Профессор же Шольп, сбросив на землю двадцать семь летчиков над Римом, бесследно исчез...

— Что же, товарищ Шольп, — спросил Корвайский, старый партийный работник, на заседании Чрезвычайной комиссии, — заставило вас, англичанина и не коммуниста, прилететь к нам, в далекую и загадочную для европейца Москву?

Шольп встал. Усталый и бледный, но с ярко, вдохновенно горящими глазами, стоял он перед членами Комиссии. И молчал.

Но потом, сделав резкий жест отрицания, как бы сбрасывая что-то, мешавшее ему, сказал:

— Ненависть, джентльмены!

— Товарищи... — тихо поправил Корвайский.

— Джентльмены! — упрямо повторил Шольп. — Это тоже хорошее английское слово, когда его употребляют там, где надо и как надо. Имя, которым должны называться лишь чистые духом.

И, переведя дыхание, с трудом подыскивая выражения на плохо знакомом ему языке, продолжал:

— Много лет тому назад, я потерял двух сыновей, — истерзанных, окровавленных, вынесли их из этого ада, который зовут войной... Из двух цветущих, здоровых юношей они превратились в трупы, — только потому, что, видите ли, в Европе накопилось слишком много горячего материала... Да, я не коммунист! Но когда я изобретал мой аппарат, то долго мучительно думал, что он может дать человечеству. Я раздражался, терял душевное равновесие, кажется, чудачил! — с неожиданно робкой, извиняющейся детской улыбкой сказал он, обращаясь к рядом сидящему Андерсону. — И сомневался, стоит ли работать дальше. Я великолепно знал, какое это страшное оружие: мой полет по Европе доказал, что два-три аэроплана с моими аппаратами в несколько часов смогут заставить замолчать все батареи, в панике погнать неприятельские армии. А когда Мюлов хотел купить меня и от имени немецкого правительства предложил мне какую-то баснословную сумму, я чуть не убил его, а затем, если бы Андерсон не помешал мне, разрушил бы мой аппарат... Но потом решили другое...

— Нет, только не им! — сказал я. — Не им, европейским правительствам, этим вооруженным до зубов мясникам... И я решил передать мой аппарат в те руки, которые не используют его для завоевательных целей. Я много читал о России, многое в ней мне и сейчас непонятно, но я знал твердо одно, — это единственная в мире страна, где не душат слабых, не скалят зубы и не рычат на добычу... О, что бы было, если бы я передал мое изобретение английскому правительству! На другой день половина Франции и Германии лежала бы в развалинах, среди гор трупов и моря крови, и английский бульдог, задыхаясь от злобы, рвался бы дальше, через Италию и Югославию, на восток! И

если бы Мюлову удалось купить меня, Германия нашла бы нового Гинденбурга, разорвав на части ненавистную ей Францию и Англию во имя реванша!.. Я не сентиментален, джентльмены! Мои понятия о добре и зле не подойдут к общепринятой причесанной морали, но смею вас уверить, я знаю, что такое добро, что такое зло. И Андерсон понял меня, это золотое сердце, мой нежный друг и строгий судья... И я позволил себе в нескольких местах прикоснуться к земле моим Черным конусом. Так живо во мне было представление об этой вакханалии крови, об этом океане человеко-ненавистничества...

И, помолчав, добавил тихо:

— Теперь я ваш, джентльмены!

КУБОК МАЙОРА КОСИЦЫНА

Рис. И. Колесникова



I.

Ленинград, Шамшева, 28.
Косицыну Георгию.
Выезжай Фрунзе немедленно.
Косицын.

Георгий Сергеевич в десятый раз перечитывал телеграмму — смысл ее от этого не менялся. Стояло ясно, определенно, категорично — «выезжай Фрунзе¹ немедленно...»

...За четыре слишком тысячи верст, в Среднюю Азию — и так неожиданно — из уютной, светлой квартиры в три комнаты на тихой улочке Петроградской стороны — через всю республику, Волгу, мимо знакомых только по карте песков Аральского моря, к такому же малознакомому, как эти места, девяностотрехлетнему деду...

Встал в памяти полустертый временем, протекшим с детства, образ высокого костлявого старика, вспомнился низкий бас, резкие движения, шершавая огромная рука, не выпускавшая папиросы-самокрутки...

Георгий Сергеевич еще раз перечитал телеграмму, узнал, что принял ее Гречухин, вздохнул и решил ехать.

¹ Фрунзе, раньше Пишпек, город в Средней Азии, столица Киргизской республики.

Обстоятельства позволяли порвать на время с Ленинградом — последняя вещь, напечатанная в одном из толстых журналов, дала несколько сот рублей, новая работа еще не налаживалась.

Ночь до Москвы, погоня через площадь за нагруженным двумя чемоданами носильщиком, вагон с надписью «Москва-Ташкент» — и пошли мелькать убранные осенним багрянцем рощи, сжатые поля, деревни, грохочущие станции...

Расположившись в вагоне, сначала против унылой, страдающей зубной болью, дамы, ехавшей до Самары, затем против молоденького инженера-путейца, без нужды демонстрировавшего на каждой станции свое новенькое, с иголочки, пальто, Косицын старался вникнуть в причину его вызова, собирал разрозненные временем воспоминания о деде.

Они начинались со смертью отца Георгия Сергеевича, который умер, когда ему, маленькому Горе, было всего пять лет. Своего отца Горя не помнил, но образ деда, костлявого великана, память кое-как сохранила. Всегда молчаливый, сосредоточенный, скупой на ласки, дед на целые часы запирался в своем кабинете и рылся в книгах, которых покупал множество.

Мать Георгия Сергеевича вскоре после смерти мужа, не поладив со стариком и не особенно тепло попрощавшись с сыном, уехала куда-то на ют, к своей семье. И остался маленький Горя с глазу на глаз с нелюдимом-дедом.

...Запомнилась одна подробность из совместной жизни. К обеду, всегда простому, почти, из-за скупости старика, голодному, подавался большой, стакана на два металлический кубок для воды. Кроме нее старик ничего не пил.

Кубок слегка расширялся кверху, и на своей тускло-серой металлической поверхности имел хитросплетенную монограмму «М. К.». Старик очень дорожил этим кубком, сам после питья тщательно вытирал его салфеткой, хранил в отдельном ящике буфета. На вопросы редких гостей, откуда у него этот кубок и из какого металла он сделан, ста-

рик отвечал кратко и таким тоном, что дальнейшие вопросы исключались:

— Отцовский... Металл — не знаю. Не химик...

Затем всплыл в памяти один эпизод...

Однажды, страшно возбужденный, вернулся дед откуда-то. Сбросил пальто, прошел в столовую и из необъятного заднего кармана сюртука вытащил кубок и швырнул его на стол.

— Ученая обезьяна!... Дуралей, сопляк!.. — последовало еще несколько энергичных эпитетов, хлопнула дверь кабинета и старик скрылся за нею.

Вскоре после этого случая дед отдал Горю в пансион Ларинской, что на Васильевском острове, гимназии и уехал куда-то. Долго о нем не было никаких известий, но деньги на содержание мальчика аккуратно переводились в канцелярию гимназии.

Затем стали доходить известия о том, что он в Париже, видели его в Лондоне. Поплыли слухи о скандале, устроенном им директору Гринвичской обсерватории, когда дед будто бы назвал того ослом и идиотом, затем нагрянула война, революция — и дед на время забылся.

Георгий Сергеевич кончил гимназию, захватил хвост войны, побывал на фронте, был ранен и по выздоровлении поступил в университет.

Голодовка двадцатого года скомкала учение — пришлось заниматься всем тем, что кормит: разгрузкой товаров в порту, продажей барахла, огородами, даже мешочничеством. Была сделана робкая попытка написать рассказ — и выявилось незаурядное литературное дарование. Его вещи печатались охотно — Горя нашел самого себя и стал жить по-человечески.

Наконец, в 23 году исчезнувший дед прислал ему письмо, помеченное штемпелем «Пишпек». Оно не было пространно — дед сообщал, что вот уже два года, как он в Пишпек, служит сторожем в каком-то учреждении, занимается садоводством. «Жить можно, но и умирать пора — ведь мне девятый десяток на исходе», — заканчивалось письмо.

А теперь эта телеграмма...

II.

Однообразные пустыни после Оренбурга, станция Арысь, где приходится целый день ждать поезда на Пишпек, живописные скалы Фрунзенской ветки, где путь делает гигантские петли, а поезд расцепляется на две части, каждую из которых задыхающийся паровоз тянет, изнемогая, наверх и, наконец, долгожданная ст. Пишпек.

Сорок минут езды на арбаке — и Георгий Сергеевич у крохотного глиняного, забеленного известью, домика на окраине города.

На стук отворяет замызганная девчонка лет двенадцати и испуганно смотрит на Георгия Сергеевича.

Потом, видимо, вспоминает что-то, широко улыбается и кричит в комнаты:

— Дідусю, до вас внук приїхав!..

И вот опять видит Георгий Сергеевич своего деда — он лежит, вернее, полусидит на кровати под одеялом.

— Ну, вот, и спасибо, что приехал... — слышит Косицын низкий бас, и огромные руки слабым движением тянутся к нему.

Дед изменился сильно. Волосы, теперь сплошь белые, поредели, рот запал — видно, не один зуб потерял старик за это время, глаза ушли глубоко под косматые брови.

И жестко было прикосновение к лицу щетины давно небритых бороды и усов.

— Умирать пора, Горя, — сказал старик. — Пожил, довольно. Слава тебе, господи, до девяносто трех лет дотянул, родителя своего на семь лет перецеголял...

И, помолчав, добавил:

— Вызвал я тебя, Горя, чтобы, во-первых, проститься — ведь ты единственный Косицын после меня остаешься, а во-вторых, рассказать перед смертью кое-что... А теперь пойдди, отдохни с дороги, вон, в комнату рядом. Я тоже устал, взволновался, — поговорим завтра, авось доживу.

Утром старик встретил его так же приветливо, как и накануне.

— Ну, Горя, — сказал он, — можно начать мою историю. Слушай — и ничему не удивляйся... Впрочем, удивляться можешь, есть чему. Только, только... верь, — закончил он с какой-то просящей, жалобной улыбкой.

— Герой моей истории — вон, — продолжал он, указывая на стоящий у кровати стол.

Георгий Сергеевич только сейчас заметил на нем своего старого знакомого — большой, отливающий тускло-серым металлическим цветом кубок.

— Много выпито из этого кубка вина и горя. Вино пил мой отец, а горе — мы с ним вместе, — усмехнулся старик. — Но, слушай дальше, мальчик.

Дед поправил подушку, лег поудобнее, осторожно ворочая свое большое, умирающее тело и, откашлявшись, начал.

III.

— Отец мой, Максим Максимыч, как тебе, может быть, известно, был мот, пьяница и игрок. Из песни слова не выкинешь, Горя, и только этими свойствами его характера можно объяснить то, что наложило тяжелую печать на мою и на его жизнь, что превратило в ничто величайшее достижение разумных существ. Судьба сыграла над этим достижением такую глупейшую шутку, что становится страшно. Ну, да ладно, не буду говорить загадками...

После сражения под Тарутиным, в наполеоновскую кампанию, отец мой двадцативосьмилетним капитаном был ранен осколком снаряда в ногу и эвакуировался в тыл.

Отправился он в наше имение Нижегородской губернии, Шумово, и стал ждать там выздоровления.

Однажды, сидя у себя в кабинете и попивая вино, он был потревожен лакеем Егоровичем, который ему доложил, что вернувшийся с медных рудников Урала, тогда еще не опущенных в карты, приказчик Кузмичев желает его видеть.

Нужно тебе заметить, Горя, что все это я рассказываю со слов отца, накануне смерти побеседовавшего со мной в состоянии, уже близком к старческому маразму. Кое-что забылось, кое-что, может быть, перепутано.

Кузмичев был толковый, грамотный, живо интересующийся всем человек. Отец его любил, доверял ему, а потому, во-первых, и отправил его на рудники проверить работу, а во-вторых, не послал к черту за то, что тот помешал ему в его уединении.

Кузмичев вошел, поклонился и поставил на стол что-то, завернутое в домотканый красный платок.

— До вашей, милости, барин, — сказал он. — Так что дела на Макарьевском руднике идут ходко, за прошлый месяц руды пудов четыреста нарыли да и за позапрошлый, почитай, столько же. Митька Дробыш дело понимает и касательно поведения его никакого сумления быть не может. Бьет Митька милости вашей челом и просит не гневаться — принять сей презент.

Развернул платок и подносит к самому баринову носу что-то продолговатое, круглое, темно-серое.

— Так что на самом дне шахты, в канун Покрова дня, вырыли эту штуку. Головка в ей отвинчивается, лежат в ей бумаги — люди мы темные, понять не можем, что к чему.

Взял отец эту штуку в руки и видит — действительно, цилиндр этак вершков пяти в длину, около двух в диаметре. Головка круглая, отвинчивается. Весь темно-серый, тяжелый страшно, фунтов на десять. Отвернул головку, а Кузмичев говорит:

— Долго бился Митька над головкой этой самой — никак не отвернуть. Вся штука эта коростой была покрыта, вершка на полтора толщиной. Долго коросту эту отбивали, прежде чем она настоящий свой материал показала. А когда головку отвинтили, свист пошел...

Отвинтил отец головку, заглянул внутрь и видит — в первом цилиндре второй, но уже не металлический, а из какого-то темного, гибкого, как резина, вещества. И с крышкой. Снял эту крышку, а в нем свернутые бумаги лежат. Развернул их — знаки какие-то, черточки, крестики, и бумага



не обыкновенная, а желтая, полупрозрачная. Кузмичев же продолжает:

— Была в ей, в штуке этой, еще коробочка одна, крохотная, этак с полпальца длиной. В коробочке этой, как Митька сказывал, были зернышки какие-то насыпаны разные. Винится Митька перед тобой, барин. Утянули евонные ребятишки эту коробочку, затеряли, а зернышки, как сказывали потом, сожрали — кисленькие, говорят.

Смотрит мой отец на бумаги и не понимает ничего. Кузмичев же — дальше:

— Чуднейшая история с бумагами этими, барин, вышла. Баба Митькина, Степанида, дура, что ни на есть на всех рудниках первеющая, увидела как-то одну из бумажек этих на лавке — забыл Митька за делам — и когда стала огонь в шестке разводить, сунула в костерок, чтоб бойчее разгорелся и — диво дивное — не горит бумага, хоть тресни. А тут сам Митька шаст в двери, хотел бабу облаять, да видит, больно занятно. Кругом щепа занялась, огонь столбом, а бумага лежит, и хоть бы ей что...

Ушел Кузмичев, и стал ломать над всем этим голову мой отец. Нарисованы на бумагах знаки разные, кружки какие-то, червячки, уродцы. Вертел в руках штуку эту металлическую, ножом ковырнул — зазубрина на ноже, как на воске, а нож толедской стали. Попробовал бумагу поджечь, в камин сунул — действительно не горит...

Ломал, ломал голову, плюнул, налил себе еще вина, охмелел, спать лег.

А наутро курьер от самого графа Палена, командира дивизии, приказ привез: быть капитану Косицыну в Петербурге — в своем полку. Нужно было на Париж идти.

Наскоро собрался мой отец (выехать мог, рана зажила) и отправился в Питер. Захватил с собой и Митькин подарок. Да впопыхах некоторые из бумажек забыл. Забыл и футляр из неизвестного материала. Собирался бы толком, может, и ничего с собой не взял бы. А тут, что под руку попало, то в сундуки и сунул. Да, кроме того, признавался, здорово он пьян был, когда вместе с Егорычем укладывался.

Когда оказался в Париже, не до цилиндра этого было. Тогда наших офицеров там на руках носили. Закрутился он, с бала на бал, с попойки на попойку. Влюбился во французенку одну, и когда стали войска наши из Парижа уходить, плюнул на все, подал прошение об отставке и с чином майора остался в Париже.

Увидела как-то его французенка Митькин подарок, бумаги выкинула, головку отвинтила, а оставшийся таким образом стакан себе на стол поставила. Чего он ей понравился — неизвестно: некрасивый был с виду, металл тусклый, единственно что — вес куда больше, чем если бы он из серебра или железа был сделан, и звон замечательный. Ударит это она по нему пальчиком — дзинь — как хрусталь звенит.

Прожил он с французенкой этой десять лет — Марго ее звали, по фамилии Кутюрье. А потом она умерла. И хотя прожил он с ней угарную жизнь, трезвый, как сам говорил, никогда с ней не целовался, но нужно отдать справедливость ему — долго и сильно горевал о ней. Пьяное было горе, но от того, может быть, еще более горькое. И в память покойной заказал сделать из металлического цилиндра митькиного — кубок.

Это оказалось не так просто. Многие токари по металлу ничего с ним поделать не могли — не брал резец. Сколько он денег ни предлагал, ничего не выходило. Да и заинтересовались мастера, что за металл такой. Пристали с расспросами — тут он себя по лбу хлопнул — понял, что дело далеко не просто, начал рассказывать им о происхождении этого цилиндра

— Мы понимаем, м-сье, — говорили, вертя в руках цилиндр, — но где же все остальное?

Кинулся к бумагам, что Марго выкинула, не нашел, затерялись. Написал старшему приказчику в имение, чтобы под страхом порки и ссылки в Сибирь нашел те бумаги, которые он перед отъездом оставил. Заметался приказчик, набрал кучу всяких старых документов и ахнул в Париж — не сообразил хорошо, что от него хотели. Кузмичев уже давно умер. Понял отец, что лучше молчать обо всей этой

истории, — все равно не поверят, — но мысль превратить цилиндр и кубок не оставил. Обходил все мастерские, пока, наконец, не набрел на одного англичанина, который за бешеную цену выточил кубок и вырезал вензель «М. К.». Вензель вдвойне к месту был: Марго Кутюрье, Максим Косицын — инициалы одни и те же.

Так семь лет прожил он бобылем и наконец решил жениться. Шел ему уж сорок восьмой год. Приглядел он девушку, мою мать, и женился на ней. Пить бросил, остепенился, зажил, как все.

Некоторое время спустя, когда ему стукнуло пятьдесят лет, родился я.

Рождение мое стоило жизни моей матери.

Снова запил отец — на этот раз уж беспробудно, до самой смерти. Тридцать с лишком лет скитался он по Европе, в пьяном угаре потроша имение. Рудники, пятьсот десятин леса, конский завод — все было спущено по игорным притонам, роздано приживалам и прихлебателям. Нашелся среди них один порядочный человек :— списался с каким-то дальним родственником нашим в Петербурге, и девятилетним мальчишкой я был отвезен туда и отдан в кадетский корпус.

Восьмидесятишестилетним старцем привезли в Шумово отца — и я не знал, чему больше удивляться. Тому ли, что можно так пропитаться спиртом, как им пропитался отец, или тому, что есть такие богатырские натуры, которые могут выдержать десятки лет беспробудного пьянства.

Единственным светлым пятном на мрачном фоне последних дней старика было воспоминание о Марго Кутюрье, и он привез с собой свою святыню, кубок с инициалами «М. К.».

Перед смертью же, впадая в забытие, путаясь и плача, рассказал мне все то, о чем теперь тебе говорю я.

К концу его рассказа я начал догадываться о происхождении митькиного подарка. Но догадка пока не подтверждалась ничем.

Я проделал турецкую кампанию, вышел в отставку, уехал в имение, женился и принялся за поиски тех листков

полупрозрачной бумаги, которые были оставлены отцом перед его отъездом в Париж.

Шли годы — и я не находил ничего.

Я отчаялся, бросил искать, занялся хозяйством. И вот, спустя много лет, разбирая в моем присутствии старый, грозивший падением, каретный сарай, рабочие нашли под половицей кусок бумаги. Это было то, что я искал. И когда взгляделся, то одновременно чувство огромной радости и досады, граничащей с отчаянием, овладело мной.

На полупрозрачном небольшом обрывке, похожем на пергаментную кальку, но значительно более плотном, было изображено четыре круга — два размером примерно в серебряный рубль, два других в гривенник. Ко всем им были приделаны палочками, как рисуют дети, руки и ноги, а на поверхности изображены таким же детским рисунком рожицы: глаза — кружками, нос — запятой, рот — забором. Под этим изображением виднелось другое — очень тонкий рисунок, похожий на географическую карту, заполнявший все четыре круга. Этот рисунок не говорил ничего, но я уже знал, как его расшифровать.

С женой и сыном, твоим отцом, я перебрался в Петербург и погрузился в книги. Вытравить изображение рожиц, сделанное какими-то ребятишками, мне не удалось, да, кроме того, я боялся повредить основной рисунок. Но этот слабый, тонкий-тонкий, изобиловавший подробностями рисунок, под сильной лупой доказывал мне, что я вижу перед собой карту обоих полушарий земли далекой меловой¹ эпохи. Моря и континенты давали другую конфигурацию, чем современная карта. Вместо севера Германии, северо-запада Франции, запада нашей России было море. Море заливало и южную Украину. Не стану описывать тебе подробно эту карту, ты ее, почти тождественную, найдешь в каждом хорошем сочинении по истории земли.

¹ Меловая эпоха мезозойской эры истории земли. Во время ее развилась морская фауна, землю населяли гигантские земноводные и пресмыкающиеся.

Рисунок на малых кругах тоже была карта, карта какой-то планеты. Какой — станет ясно, если скажу тебе, что соотношение между большими и малыми кругами равнялось таковому же между плоскостными изображениями земли и луны.

Остальное так же мрачно, как и начало этой истории. Когда я решился обратиться к одному из тогдашних светил астрономической науки и, давясь рассказом, сунул ему в руки кубок и этот лоскут бумаги, оно, это светило, разразилось таким смехом, что напрасно я лепетал ему, что рожицы эти нарисованы какими-то ребятишками, а самое настоящее — под ними.

Ясно было одно — с кубком и рожицами далеко не уедешь, тем более, что светило не побрезговало разнести по своим коллегам молву о сумасшедшем старике, толкующем что-то о том, как миллионы лет тому назад жители луны пальнули по земле снарядам, начиненным изображениями детски нарисованных карапузов. Улыбались, поддакивали, но, видимо, не верили. Да и как поверить опустившемуся, вечно пьяному человеку, несущему косноязычную чушь о находке на дне шахты, о каких-то бумагах, коробочке, зернышках.

Я поехал в Париж, отыскал старую квартиру отца, в надежде найти выкинутые Марго из снаряда остальные бумаги и, конечно, не нашел ничего. Тщетно искал я человека, могущего мне поверить по этим двум имевшимся у меня предметам. Молва о моем сумасшествии опережала меня, и когда я, отчаявшись в Париже, вломился к директору Гринвичской обсерватории, он сделал попытку просто выставить меня за дверь. Доведенный до отчаяния, я замахнулся на него. Вышло нехорошо, и мне пришлось отсидеть год в сумасшедшем доме. Когда меня освободили, убедившись в том, что я не опасный для окружающих маньяк, и выдали арестованные вместе со мной мои вещи — я получил лишь один кубок. Листок исчез неизвестно куда.

Вскоре после моего освобождения нагрянула мировая война — и было не до меня. Всю войну, перебиваясь с хлеба на квас, просидел я в Лондоне, и шесть лет тому назад,

распродав все, кроме кубка, приехал сюда, во Фрунзе. Захотелось уйти от людей, ехать было безразлично куда — лишь бы в тишину, глушь, умереть спокойно. Я думаю, Горя, ты понял все.

— Понял, дедушка, понял, — страшно волнуясь, ответил Георгий Сергеевич. — Миллионы лет тому назад жители тогда еще не мертвой, а живой, культурной, может быть, в сотни раз более культурной, чем наша земля, луны решили поделиться с нами, людьми земли, своими знаниями, заявить о своем существовании...

— Да, Горя, — продолжал старик, — и послали на землю снаряд, может, быть, со своей историей, описанием завершенных достижений, семенами растений. Долго и тщательно, должно быть, готовились они к этому предприятию. Ведь стрельнуть на расстояние около четырехсот миллионов километров не шутка... И вот, Горя, этот снаряд упал на бесплодную еще землю — человека еще не было и их не понял никто.

— А когда, миллионы лет спустя, — тихо сказал Георгий Сергеевич, — появился человек, то их уже не было — носится вокруг земли гигантское кладбище. А человек... человек не сумел понять их и сейчас, даже не ведая, что творит, поиздевался над ними.

Георгий Сергеевич взял в руку кубок. Тускло-серым светом отливала гладкая поверхность, и он тихо зазвенел от прикосновения пальцев.

* * *

Месяц спустя, похоронив деда, возвращался Георгий Сергеевич к себе, в Ленинград. Усыпно раскачивало мягкий вагон и слипались глаза. Тонко свистел где-то маневровый паровоз, другой отвечал ему низким, густым ревом.

Смутно намечалось рождающееся произведение, пробивались сквозь явь образы сна...



...Склонившись над столом, освещенный свечой, сидит громадный офицер в форме александровских времен... Перед ним темный цилиндрический предмет, бутылка и сверток бумаг... Офицер пьян — он качается над столом и бормочет что-то. Потом клонится головой к столу и засыпает...

...Свеча, задетая локтем, падает, но медленно, медленно... все погружается во тьму, и только огонек свечи плывет в воздухе — из тьмы вырисовывается равнина, уходящая вдаль... Огонек свечи разгорается все сильнее, все ярче, из желтого становится ослепительно белым — и мрак ночи, свистя, прорезает звезда... она падает совсем близко и из земли подымается пар...

...Из тьмы надвигается туша огромного зверя... Он страшен, как зверь Апокалипсиса... Грузное туловище, заключенное в панцирь, длинная шея, крошечная головка с горящими злыми глазами...

Тихо рыча, ползет чудовище к месту, где упала звезда, роет когтями землю — и вдруг отскакивает, тряся обожженной лапой, испуская дикий, потрясающий мрак ночи, сверхъестественный рев...

ЭЛИТЕРИЙ

Рис. И. Колесникова



Что сочинение Сэта Томмервиля, из семи, поданных в Совет факультета, было лучшим, не подлежало сомнению. Сама тема — «Древние осадочные породы Гуронской системы», давала широкий простор гипотезе, а потому и являлась весьма опасной для молодого и увлекающегося ума. Сэт Томмервиль счастливо уклонился от соблазна эффектных, но малоубедительных обобщений и, удачно ориентируясь в противоречиях таких знатоков, как Ван Гайз, Дэна, Михайловский и др., выявил свою точку зрения, достаточно научную и (что, пожалуй, является более важным) вполне корректную по отношению к вышеперечисленным авторитетам. А это значило, что место при факультете по кафедре геологии и палеонтологии за ним обеспечено. И Элит, встретившая его в передней своей маленькой квартирки, поздоровалась с ним нежнее обычного, задержав свою руку в его крепкой ладони чуть-чуть дольше, чем, может быть, следовало бы.

Ромуальд же Гримм, двоюродный брат Элит, вечно растрепанный, шумный и излишне искренний художник и тут не изменил себе — хлопнул Сэта по плечу и подтолкнул его к девушке.

— Ну, Эли, не ломайся больше, — сказал он, — и бери его в мужья. Он уже достаточно знаменит, чтобы освещать тебя своим великолепным сиянием.

Элит закусила губу и Сэт почувствовал, что все пропало — по крайней мере на ближайшее время. Бросив свирепый взгляд на художника, он уже было собирался ответить резкостью, но Элит предупредила его.

— Сейчас половина двенадцатого, Ром, — заметила она, смотря на часики браслета, — а вернисаж начинается в двенадцать. Ты можешь опоздать.

— Попросту говоря, — добродушно рассмеялся Ромуальд, — проваливай ко всем чертям и не путайся под ногами. Я понял, сестренка, и испаряюсь, как туман в моей «Долине безмолвия».

— Я искренне поздравляю вас, Сэт, — говорила Элит, сидя с ним несколько минут спустя в небольшой, далеко не поражающей роскошью, но со вкусом обставленной гостиной, — очень радуюсь за вас. Но, Сэт, я хочу предупредить ваши слова — я чувствую, они вертятся у вас на языке, — и тем избавить и себя и вас от дальнейших тяжелых объяснений.

— Это бесчеловечно, Элит! — с тоской, так хорошо знакомой ему за последнее время, ответил Сэт. — Вы же знаете, что я без вас жить не могу, что вы для меня все — и слава, и радость, и жизнь, что...

— Это может быть больно, Сэт, не спорю, — перебила девушка, — но не бесчеловечно. Так же больно, как операция без наркоза, но разве станете вы упрекать хирурга в бесчеловечности, когда он этого наркоза, по тем или иным причинам, применить не может?

Сэт молчал, опустив голову. Да, спорить было бесполезно — в этой стройной, худенькой девушке таилась огромная сила воли.

Элит подошла к пианино и взяла несколько аккордов, потом тем движением головы, которое так любил Сэт, от-

кинула прядь волос, спускавшихся на лоб, — и комнату наполнил гром воинствующих, ликующих звуков.

...Шаг титанов, закованных в железо, мощь победы и победа мощи, торжество победителей и гимны славе — гремел под пальцами Элит....

И когда последний аккорд вагнеровского марша отзвучал, резонируя в бронзовой вазе, стоявшей на пианино, мелодичным металлическим звоном, Элит повернулась к Сэту и ее побледневшее лицо и горящие, потемневшие глаза говорили, что и она сейчас шла с ними, с торжествующими победителями, нога в ногу, в этом марше к славе...

— Вот что я хочу, Сэт! — прошептала она. — Вот без чего не стоит и жить... Я хочу, чтобы и ты шел в этой колонне гигантов — и ты пойдешь, если хоть немного любишь меня!

И, подойдя к Сэту, сказала, положив ему руку на плече, снова переходя на холодное «вы».

— Вы талантливы, Сэт, удивительно и разносторонне. Скульптура моей головы, сделанная вами, говорит о том, что из вас мог бы выйти художник посильнее Ромуальда — или я в этом ничего не понимаю. Ваше сочинение дало вам место при университете. Наконец, такой пустяк, как недавний ваш матч с Джоном Гасмитом, говорит о том, что вы и спортсмен не из плохих. Но, Сэт, все это не то, не то, не то! Вот именно эта разносторонность, все эти намеки, попытки, искания в окружающем и в самом себе, и пугают меня. Дайте что-нибудь яркое, цельное, бесспорное и я ваша, ваша, Сэт, клянусь вам в этом!

И Сэт ответил:

— Я попробую, Элит... Но только помните, вы дали слово. Больше — клятву.

1.

... Ящики, ящики, ящики...

Двадцать два больших, стянутых вдоль и поперек полосовым железом, рябые от бесчисленных штемпелей ящи-

ка. Когда их втащили по черной лестнице Геологического института и поставили в комнату рядом с аудиторией, прибежал смотритель здания и стал кричать о том, что тут не склады, не сарай, а помещение высокого научного учреждения, что паркет штучный, двери дубовые, и что сторож Микс олух — нельзя было допускать ставить ящики сюда, ни в коем, ни в коем случае.

Когда же олух Микс завизжал на все сорок девять комнат Геологического института просунутым между досками ящиков топором, а в аудиторию, отчаянно царапая пол, с грохотом втащили огромный щит неизвестного назначения и поставили рядом с кафедрой, смотритель пришел в неистовство и побежал к директору.

Директор выслушал смотрителя, а затем хлопнул ладонью по столу.

— Извольте, — сказал он, внезапно багровея, что указывало на плохое сердце и на еще более неважный характер, — оставить меня в покое! Ваш штучный пол и дубовые двери не стоят ни одного из этих ящиков. Убирайтесь!

Около Микса возростала гора древесной шерсти, тонкой, мягкой, как матрасный волос. А на полу расположились куски гипса — содержимое ящиков, — плоской формы, разных размеров, с большое блюдо, на котором подают стерлядей, и с крохотную тарелочку для варенья.

— Как будто бы ни одного слепка не разбилось; — услышал Микс над собой глухой баритон. — Здравствуйте, Микс — и подождите минуточку визжать вашим топором.

Пришедший, высокий, худой мужчина лет тридцати, с желтым больным лицом и воспаленными глазами, поднял с полу один из слепков и стал его рассматривать.

И Микс увидел, как затанцевал слепок в руках человека — мелкой дрожью, прерываемой резкими дерганьями.

— Опять начинается, — сказал человек. — Если припадок будет меня трепать и завтра, во время доклада, выйдет паршиво, Микс. К тому же от этой чертовской хины я почти оглох...

Он положил слепок на пол и, тяжело волоча ноги, прошел в аудиторию. Осмотрел щит, прошел в конец зала, где

на специально устроенном помосте стоял проекционный киноаппарат, взглянул на полотняный экран, натянутый над кафедрой и взошел на нее. Трясаясь мелкой дрожью, постоял с минуту, затем произнес, обращаясь к невидимой публике.

— Элитерий...

Прислушался к своему голосу и покачал головой.

— Никуда не годится... — прошептал он. — Не будет слышно и в средних рядах...

Махнул рукой и пошел к директору.

— Если возможно, — начал он, здороваясь с директором, — будьте любезны известить аудиторию о том, что я совершенно не в состоянии делать завтра доклад. Я совсем болен, у меня температура, меня трясет, я... — и, обливаясь потом, опустил в кресло.

— Нет, коллега, это невозможно, — так же, как и в разговоре со зрителем, внезапно краснея, раздраженно ответил директор. — Сделайте что-нибудь с собою, подлечитесь, но доклад должен состояться. Вы так взбаламутили ученый мир, что ждать дальше нельзя.

Глазами загнанного животного смотрел больной на директора. Потом криво усмехнулся, с трудом поднялся с кресла и протягивая директору дрожащую руку, прошептал:

— Нельзя, так нельзя... Только прошу приготовить к докладу механика для киноаппарата, да заодно и доктора, если не выдержу.

2.

... — О том, чтобы сколоть те части породы, на которых был отпечаток, нечего было и думать. У нас не было инструментов, а если бы они и были, то мы не могли рисковать возможными повреждениями пласта во время сколки. Мы с Гриммом решили сделать с отпечатка слепок. Два месяца пробирались мы к Лагуте, частью пешком, сквозь заросли тропического леса, прорубая себе путь топором, ча-

стью по реке, на наскоро связанных плотках. В Лагуте мы скупили по аптекарским складам почти весь запас гипса и с несколькими туземцами, в сопровождении груженных гипсом мулов тронулись в обратный путь.

Голос докладчика был глух — он все время откашливался, нервным движением беря себя за горло. Подносил руку ко лбу, как бы стирая с него пылающий жар, и чувствовалось, что только колоссальным усилием воли удерживает себя на кафедре.

Аудитория была предупреждена о болезни докладчика — даже шепот его мог донестись до последних рядов в стоящей тишине. В зале не было ни одного пустого места, сидели на приставных стульях, стояли в дверях. И, напряженно слушая оратора, смотрели на стоящий около кафедры громадный щит, на гипсовой поверхности которого, набранное из отдельных кусков, виднелось очертание скелета какого-то зверя. Намечался ряд позвонков змеевидного тела, лучистые кости крыльев, вооруженной зубами пасти.

...И вот началась работа по снятию слепка. Мы смазали поверхность отпечатка растительным маслом, приготовили гипсовый на квасцах раствор и стали снимать одну часть за другой, наливая гипс на поверхность. Имевшийся в инвентаре экспедиции киноаппарат запечатлел этот процесс... Механик, прошу вас приступить.

Свет погас, зажужжал фонарь и на экране задвигались фигуры. У подножья почти отвесной скалы копошились двое людей. Нагнувшись над большим плоским камнем, они всматривались в его поверхность. Один из них, в котором публика узнала докладчика, выпрямился, улыбнулся и сказал что-то другому — и тут аудитория увидела ту громадную перемену, которую претерпел этот человек. На экране говорил беззвучно здоровый, крепкий мужчина, на кафедре стоял бледный, изможденный и больной.

...— Как известно всем из газет, моего друга, художника Гримма, уже нет в живых. Он не перенес тропической лихорадки и умер месяц спустя, на пути к Лагуте. Эта лихорадка не пощадила и меня — я тоже совсем еще болен...

Показалась долина реки, по берегу которой шел караван — десяток груженных мулов и несколько человек — Гримм, докладчик и пять или шесть туземцев-дикарей.

Оратор замолк — и притаившаяся аудитория услышала падение тела.

Дали свет — на полу, у ступеней кафедры, в глубоком обмороке лежал докладчик, молодой, прогремевший на весь ученый мир палеонтолог Сэт Томмервиль.

3.

Шесть шагов в длину, четыре и ширину, кровать, рахитический стул, вздрагивающий от каждого движения шкаф без дверец и залитый чернилами стол из некрашенных досок — убежище старого учителя Натана Флейшмана.

Утром чай, вернее водица цвета спелого колоса, без сахара, с куском хлеба, днем немного рубцов, студня или кровяной колбасы, вечером — хорошая книга. Впрочем, книга и утром, и днем. Если бы не было книги, не стоило бы есть рубцов, студня и кровяной колбасы. Потому что сильное воображение и творческий ум превратят вам их в нектар и амброзию, лихорадочный шкаф и рахитический стул — в шедевры мебельного искусства, комнату — во весь мир, земной, межпланетный, в космос, в бесконечность...

— Читали, сосед, сегодняшнюю газету? — слышит Натан Флейшман голос из коридора.

Старик поднимается со стула и идет к двери. За ней стоит сосед, слесарь Толь, с газетой в руках.

Натан нагибает голову и смотрит поверх очков на слесаря. Тот протягивает газету.

— А что, сосед, разве есть что-нибудь, заслуживающее внимания? — по старой привычке учителя глухонемых, отчетливо и медленно выговаривая каждый слог, — спрашивает Флейшман.

— Зверь Сэта Томмервиля, — отвечает слесарь.

— Зверь Сэта Томмервиля? — оживает старик. — Что это такое? Давайте, давайте, дорогой Толь, я прочту сейчас!

И Натан читает о том, как пять лет тому назад молодой ученый, кандидат на кафедру палеонтологии Сэт Томмервиль вместе со своим другом, художником Ромуальдом Гриммом отправился в экспедицию по неизвестному направлению. На его отъезд в то время никто не обратил внимания — собирался он на свои собственные, довольно значительные средства, своему отъезду рекламы не делал, но снарядил, как сообщала газета, экспедицию очень хорошо — было взято все, необходимое для длительного путешествия, даже киноаппарат.

И вот, неделю тому назад, он вернулся и привез с собой слепок с отпечатка неизвестного науке ископаемого. На литографских сланцах Голубой реки окончил свое существование невиданный зверь и воздвиг себе на тысячи лет памятник — своим собственным телом, отпечатавшимся всем костяком на камне. Памятник воздвиг себе и Сэт Томмервиль — зверь не был известен палеонтологии.

Не похожий ни одно изученное наукой ископаемое животное, он поставил в тупик весь ученый мир. Имея крылья, он является представителем класса птиц, форма головы и змееобразного позвоночника столба говорили за то, что он близко стоял и к пресмыкающимся. Являясь, таким образом, сильным конкурентом археоптериксу, считающемуся соединительным звеном между этими двумя классами, он превосходил последнего величиной, как превосходит орел канарейку.

И Сэт Томмервиль дал ему звучное имя — элитерий. Газета сообщала дальше, мешая научный материал с былевой обиденщиной, что это название дано в честь невесты Томмервиля, Элит, очаровательной, как и подобает быть невесте знаменитости, девушки. Мимоходом передавалось, что свадьба состоится на днях и что она откладывалась сих пор по двум причинам — по случаю смерти Гримма, погибшего от лихорадки на обратном пути экспедиции и память о котором Сэт Томмервиль хотел почтить полугодовым трауром и по причине болезни самого Том-

мервиля, тоже зараженного лихорадкой и больного до того, что он упал в обморок во время чтения своего доклада в Геологическом Институте.



В тексте статьи был помещен рисунок реконструированного элитерия — он главным образом и привлек внимание Толя необычайностью форм чудовища.

— Пустяки скотинка! — сказал слесарь, тыча через плечо Флейшмана изуродованным инструментами пальцем в рисунок. — С такой встретиться одни на один в лесу — пожалуй, забудешь, как тебя зовут!

Флейшман опустил газету — воображение нарисовало ему, послушно и добросовестно, такую потрясающую картину, что он даже зажмурился и покрутил головой.

— Уж лучше и не думать, дорогой Толь, действительно, страшно становится. Я бы просто с ума сошел!

— Между прочим, уважаемый сосед, — сказал слесарь, — сегодня в Иллюзионе, в дополнение к программе, будет идти фильм-экспедиция Сэта Томмервиля. Пойдемте, дружище?

Решено было идти. Правда, это предприятие должно было сделать значительную брешь в бюджете Натана, к тому же было немного жалко жертвовать несколькими часами очаровательного общения с книгой, но это «пойдемте» было сказано с такой подкупающей убедительностью, что отказать не хватило духа.

Еще в кассе, беря билеты, Толь чувствовал себя на седьмом небе. В фойе гремела музыка, щелкало колесо безвыигрышной лотереи, со стен глядели плакаты программы: американского приключенческого фильма — несущиеся люди, автомобили, скачущие лошади, и экспедиция Сэта Томмервиля — чудовище с зубами кашалота и крыльями архангела.

Сидя рядом с Флейшманом, Толь переживал вместе с героями сногшибательной американской картины все стадии развертывающегося действия — балансирование любовника с универсальной жизненной подготовкой над Ниагарой, спасение жильцов пылающего дома, погоню на автомобиле за скачущим злодеем и прочие полотняные ужасы, щедро закрученные автором, режиссером и оператором. А когда добродетель, как ей и полагается, восторжествовала, герои поженились, злодеи были наказаны и все пришло в порядок, Флейшман вздохнул с облегчением — работы его воображению не было никакой, ее услужливо брали на себя авторы ужасов.

Но вот закачались на экране мулы экспедиции Сэта Томмервиля, развернулся освещенный ослепительным солнцем далекий тропический пейзаж и прошагнули слева направо фигуры Сэта Томмервиля и Ромуальда Гримма, в пробковых шлемах, белых костюмах, с винтовками через плечо. За ними шли, пугливо озираясь на киноаппарат, самые настоящие дикари, навьюченные инвентарем экспедиции, голые, лохматые, первобытные.

Затем фигуры Томмервиля и Гримма задвигались над ртпечатком, был заснят весь процесс снятия слепков. Была показана жизнь обоих европейцев в палатке около работ, были представлены публике веселые ребята-дикари, уже привыкшие к страшному глазу объектива и ослепительно скалившие свои бесподобные зубы, и среди них — негр Самбо, служивший одним из проводников, наиболее культурный, выполнявший в экспедиции немудреную роль оператора у уже наставленного, заряженного и приведенного в полную боевую готовность киноаппарата.

Показалась Лагута — небольшой городок с чистенькими домиками, запутавшимися в зеленой чаще пальм, лавров, фикусов и молочаев. Вся бунтующая роскошь тропического леса была показана публике на обратном пути экспедиции — каучуковые, гигантские ореховые и кокосовые деревья, орхидеи, бромелии, папоротники, пупунии: — целый ботанический сад, необъятный, чарующий и... ядовитый...

Пронесли на носилках заболевшего Гримма, зараженного тропической лихорадкой. Показали небольшой холмик у подножья масленой пальмы с крестом на нем — последнее убежище Гримма и коленопреклоненную фигуру Томмервиля у могилы.

К фильму экспедиции был примонтирован кадр, автором которого, видимо, Томмервиль не был — снимки улыбающейся Элит, прелестной девушки, играющей в теннис, верхом на лошади, в купальном костюме у кабинки, просто гуляющей.

Дали свет. Публика встала и направилась к выходам. Поднялся и Толь, Флейшман продолжал сидеть на месте.

— Идем, дружище, — начал было слесарь и остановился; Натан сидел, широко открытыми глазами смотря на уже безжизненное полотно. Он, видимо, не сознавал, что происходит вокруг него, вцепившись руками в локотники кресла, бледный, как изваяние, чем-то необычно взволнованный.

Толь встрепенулся.

— Что с вами, дружище, вы больны? — нагнулся он к старому учителю, беря его за плечо.

Тот медленно, как сомнамбула, перевел свои глаза на слесаря и покачал головой.

— Я останусь еще на один сеанс... Пойду, может быть завтра, послезавтра, буду ходить до тех пор, пока...

И, резко поднявшись, направился к кассе.

4.

Элит сосчитала, — восемнадцать журналов и двадцать три газеты. И во всех них — статьи об элитерии, о Сэте и о ней, Элит. Сэт, элитерий, Элит, Элит — Сэт, элитерий — все шесть комбинаций, которые могут дать эти три имени, сладкой музыкой пели в сердце Элит Томмервиль. А вчерашний банкет в Геологическом институте, Бармэн Ли и его речь? Речь, являвшаяся сплошным дифирамбом Сэту и почти полностью напечатанная во всех газетах... А тост Хоксая, токийского профессора, так мило, остроумно и кстати упомянувшего о старой японской сказке, — в которой два героя — зверь и красавица!

А вчерашние интервьюеры? Хотя что-нибудь, самую малость пусть расскажет им госпожа Томмервиль о Сэте, о себе самой, о своих вкусах, точка зрения на то и на это... Приходилось спешно вырабатывать эти точки и эти вкусы — а это было так увлекательно

Элит потянулась. Встать, пожалуй, было еще рано, да и незачем. Сэт, очень утомленный за последние дни и не совсем еще поправившийся, спал рядом, вытянувшись на

спине. В спальне же так хорошо!.. Давнишняя мечта о белой полированной мебели с бледно-голубым шелком, наконец, превратилась в действительность. По шелку золотистые цветы, разлапистые, громадные, очаровательные! Сам Морфей не придумал бы более покойной, усыпчивой и поэтической кровати... А шкаф, наполненный платьями? А эти журналы, синие, розовые, желтые, в журналах же Сэт, Элит, элитерий — элитерий, Сэт, Элит, Элит Томмервиль!..

— Господи, до чего хорошо жить на свете!..

Сэт шумно вздохнул, пробормотал что-то и открыл глаза. И привычкой, выработанной долгим путешествием, когда приходилось ловить шумы и шорохи леса даже во сне, чтобы быть всегда готовым к отпору, сразу перешел от сна в явь и приподнялся на кровати.

— С добрым утром, Сэт, милый!

В дверь постучали — так всегда костяшкой безымянного пальца стучала в дверь по утрам старая Нина, служанка, вынянчившая Элит.

И, по разрешении войти, внесла на подносе утренний кофе и кучу писем — с каждым днем их становилось все больше и больше, сегодня они совсем загнали в угол подноса две чашки и плетенку с бисквитами.

— Там какой-то старик желает видеть господина Сэта. Сидит в приемной, говорит, что не уйдет, пока вы не выйдете.

Сэт поморщился. Беседа с каким-то стариком, не имеющим даже визитной карточки, не входила в его планы — хотелось выпить кофе, пробежать газеты, уложить несколько кирпичей на стены возводимого каждое утро вместе с Элит воздушного замка.

— Передайте этому старику, Нина, что я сейчас занят, пусть мне позвонит после.

Нина вернулась через несколько минут.

— Он сказал, что у него телефона нет и что он — это его слова — должен вам сказать нечто, что заставит вас бросить все остальные дела.

Это звучало, как приказ. И недоумевая, заинтересованный, Сэт оделся и пошел в приемную.

В широком кресле важно и неподвижно сидел маленький, заросший волосами старик. И когда Сэт подошел к нему, он не тронулся с места. Остановившись в трех шагах от кресла, Сэт в недоумении пожал плечами — до того был неподвижен старик. Только глаза его над тяжелыми мешками с живым любопытством и, казалось, с насмешкой смотрели на него снизу.

— С кем имею честь? — начиная сердиться, спросил Сэт.

Старик не отвечал. В глазах его запрыгали веселые искры и сквозь чашу усов прорвался, обнажая бледные десны, беззвучный смех. А затем, сотрясая маленькое тельце, этот смех выкатился наружу коротенькими всхлипывающими звуками — старик хохотал, жмуря глаза от набегающих слез безудержного, детского смеха.

Сэт подошел к стенному звонку.

— Я позвоню, — сказал он, — чтобы вам, во-первых, дали воды, а во-вторых, убрали. Приходите тогда, когда научитесь человеческой речи.

Старик умолк и покачал головой. И уже без тени улыбки, с еле уловимым оттенком сострадания, тихо, почти шепотом, произнес:

— Ай да Сэт Томмервиль... Ай да знаменитый палеонтолог, открывший элитерия...

И, помолчав, добавил:

— Как вы это сделали?

Еще будучи студентом, Сэт как-то принимал участие, в качестве первоклассного голкипера, в международном матче в футбол, его команда, синяя с белым, шла с противником, желтым, в одинаковом счете — один на один. Оставалось три минуты до конца игры — и Сэт, широко расставив ноги, мечтал о близком триумфе, о том, что он отбил четырнадцать трудных, почти невозможных мячей, о том, что это был первый случай, когда бывшая всех и всюду команда желтых была принуждена вести игру в ничью.

Мечтая, не заметил, как совсем близко от его ворот завязался клубок из сине-белых и желтых тел — и неуклонно, как судьба, мяч влетел в правый край ворот, ударив

прыгнувшего Сэта по концам протянутых пальцев. Гром аплодисментов сорокатысячной толпы с неопровержимостью удара палкой в голову доказал ему, что он «смазал», что все потерял раз и навсегда, что эти сорок тысяч воющих ротозеев разнесут завтра по всему спортивному миру его позор и унижение.

И вот, так же, как и тогда, он почувствовал сейчас желание запрятаться в какую-нибудь щелку, чтобы ни одного кусочка тела снаружи не оставалось, а главное — чтобы все забыли о нем, о том, что есть на свете Сэт Томмервиль.

— Что вы хотите этим сказать? — побледневшими губами спросил он старика.

— Я Натан Флейшман, учитель школы глухонемых, — ответил тот.

И усевшись поудобнее, как бы готовясь к длинному и занимательному рассказу, Флейшман продолжал.

— Чудесный экземпляр ископаемого, невиданного зверя, очаровавшего весь ученый мир и общественное мнение. Замечательная экспедиция, обставленная с удивительным комфортом, вплоть до киноаппарата. Четкие, хорошо смонтированные фильмы, ящики со слепками, переложенными не какими-нибудь стружками, а великолепной древесной шерстью, о которой тоскует мой матрац — обо всем этом известно всему миру и все это то, чему, как говорится, комар носа не подточит. Результаты — европейское, нет — почти мировое имя, прелестная жена, блестящие перспективы... И мне, любителю всего прекрасного, даже жалко становится разрушать все это... Нет, нет, — не беритесь за револьвер, это совершенно бесполезно! Во-первых, потому, что это наделает шуму и завяжет такой узел, который вам вряд ли удастся распутать, а, во-вторых, я оставил душеприказчика — он продолжит мое дело, если вы меня убьете. Лучше садитесь и слушайте.

Посетители кинематографа, нормальные люди, умеющие говорить и слушать, одним сломом — обладающие тем даром человеческой речи, в отсутствии которого вы только что упрекнули меня, не подозревают того, что он, кинематограф, нем только для них. Я сейчас удивлю вас истиной,

которая звучит, как парадокс — для глухонемого, обученного речи, умеющего говорить, но, конечно, не слышащего ничего, кинематограф иногда говорит... Губами действующих лиц, движениями этих губ — и они, глухонемые, различают произнесенные слова, слушают, так сказать, безмолвие. Вот почему им, а также и мне, умеющему читать по губам, иногда бывает смешно, а иногда и просто неприятно сидеть в кино. Выдвинут на передний план героя, произносящего трагическую речь, а он, этот герой, из озорства ли, или просто, чтобы не прервать речи, повернет в нее иногда такое словечко или фразу, что досадно становится, — все настроение, созданное иногда удачной вещью, пропадает в одно мгновение...

...Нечто подобное случилось и с вами. Вы помните, конечно, все обстоятельства, которыми сопровождалось засняtie вашей экспедиции? Не припомните ли вы тогда и вашей фразы, которую вы бросили Ромуальду во время работы над слепком? Вы произнесли ее быстро, и мне пришлось просидеть два сеанса, чтобы прочесть ее. Я и тогда на себя не понадеялся — ведь всякие ошибки возможны, и после сеанса побежал к механику в будку, и за несколько монет он провертел мне это место три раза, замедляя и даже останавливая ленту по моим указаниям. Сомнений не было, Сэт Томмервиль, — вы, не подозревая того, что плотно может говорить, бросили Гримму следующие слова: «Ну, дорогой Ром, никогда и никто, кажется, не надувал весь мир так, как это собираемся сделать мы»...

Сэт лежал, уткнувшись в угол дивана.

Натан Флейшман вздохнул, полез за табакеркой, нюхнул и продолжал.

— Вот и все, что я хотел сообщить вам. Не бойтесь, я вас не выдам. Губить человека, каков бы он ни был, не в моих правилах. На Толя, моего «душеприказчика», тоже можно положиться — раз молчу я, будет молчать и он. Моя цель другая — мне просто очень любопытно узнать, как вы это все устроили.

Сэт повернулся к старику... и тот опустил глаза. Столько муки, стыда и унижения было написано на лице Сэта, что старик был не в силах смотреть на него.

— Ну что же, вы вправе любопытствовать, — сказал Сэт, — и я отвечу вам. Мы с Ромуальдом высекли на сланце отпечаток зверя — мы работали долго, упорно, причем я тщательно обдумывал, как палеонтолог, каждую косточку скелета, чтобы сделать зверя правдоподобным с научной точки зрения. А потом сделали с него слепок. Вот и все.

— Ну, а если пойдут по вашим следам и найдут отпечаток, разве подделка не будет обнаружена? — спросил Натан.

— Вряд ли... Следы от инструментов были тщательно уничтожены, к тому же мы обработали поверхность сланца химическим путем, чтобы придать ей вид, соответствующий ее древнему возрасту. Повторяю, мы работали над породой месяцы, слепок же делали всего две недели.

И, переводя дыхание, добавил:

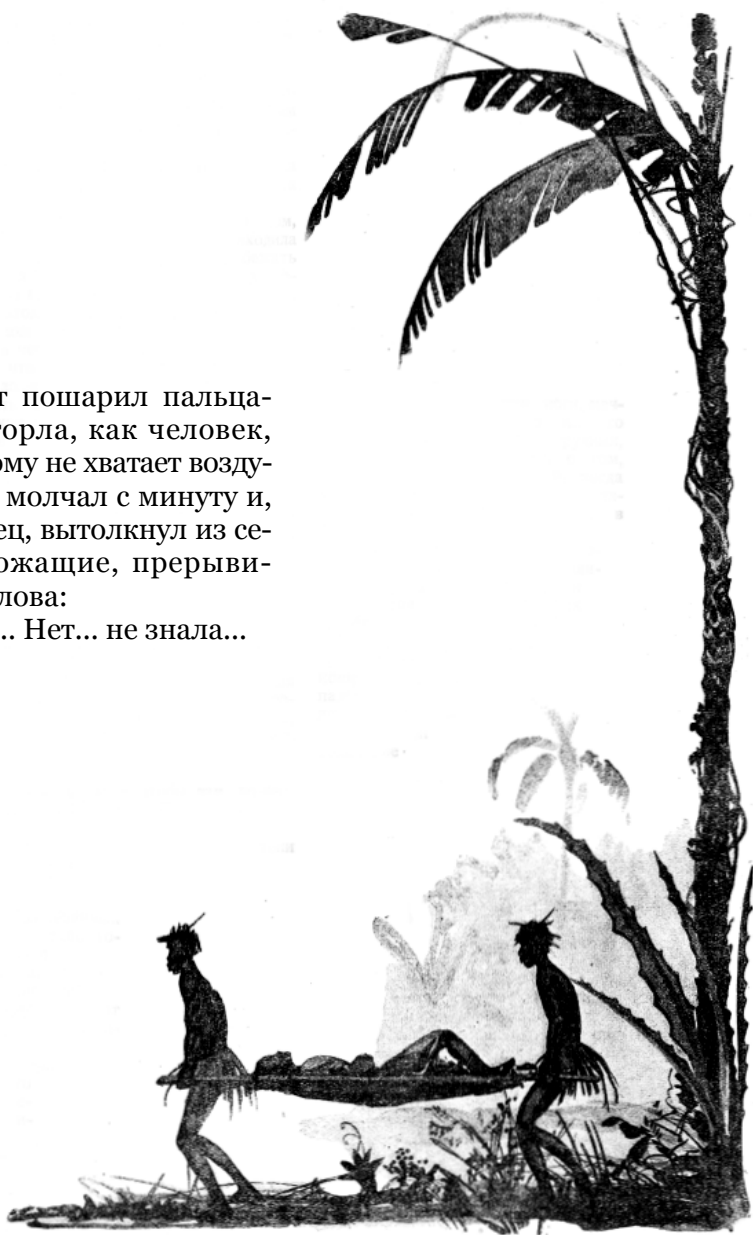
— Да, это преступление, и я сознаюсь в этом. Решиться на него пять лет тому назад мне было сравнительно легко — я был моложе и легкомысленнее. Но как тяжело было мне, перенесшему болезнь, трудности и опасности длительного пути и постаревшему на много лет душой, продолжать обманывать науку и служителей ее, доверчивых и мудрых — доказывает мое состояние во время доклада, когда расшатанные болезнью нервы не выдержали напряжения и я упал в обморок. И я завидую Гримму — мертвые сраму не имут... Да, это преступление, и я шел на него, лишь бы завоевать ее, Элит... Лишь за мою славу, за мое имя отдала она мне себя, свое...

Но Флейшман быстро поднялся.

— Этого можете не говорить, — прервал он Сэта. — Мне это совершенно ясно. Эти фотографии, интервью, это жадное желание разделить с вами ваш триумф достаточно показательны. И это единственное, если таковое может быть, оправдание вам. Последний вопрос — знала ли она об этой мистификации?

Сэт пошарил пальца-
ми у горла, как человек,
которому не хватает возду-
ха. Он молчал с минуту и,
наконец, вытолкнул из се-
бя дрожащие, прерыви-
стые слова:

— ... Нет... не знала...



КРАТЕР КОПЕРНИКА

Рис. Н. Дормидонтова



Рассказ В. Позднякова.

Рисунки Н. Дормидонтова

І. Девочки в розовых платицах

— Папочка, в этом чемодане теплое белье, в том, красном — аптечка...

— Папочка, обязательно не забудь дать телеграмму из Марсея, как доехал.

— Папочка, а где твои перчатки? Опять ты с голыми руками!

Папочка не может сразу отвечать на все вопросы и указания. Он стоит, немного смущенный, и растерянно улыбается. Публика с любопытством смотрит на высокого, полного мужчину, лет пятидесяти, окруженного тремя девочками в розовых платицах. Девочки очень взволнованы и собираются плакать. Старшей лет пятнадцать, младшей десять. Средняя, двенадцатилетняя, расстроена больше всех — она уже плачет, уткнувшись лицом в грудь отца, плечи ее вздрагивают.

— Девочки, девочки, не надо, — говорит отец, — я вернусь к октябрю... Это уж не такой срок... А там совсем не страшно... М-сье Грохотов пишет, что там совсем наоборот — тепло, уютно, светло. М-сье Грохотов не станет лгать, девочки...

Раздается второй звонок — и публика бросается к вагонам. Мужчина целует — бессчетно, короткими, клюющими поцелуями, — младшую, среднюю, старшую, затем отрывает от себя вцепившиеся детские руки, всхлипывает,

улыбается, опять всхлипывает, машет рукой и лезет в вагон.

Девочки идут, затем бегут рядом с поездом, кричат что-то. По выражению лица старшей мужчина догадывается, что она хочет сказать что-то чрезвычайно важное. Он берется за оконные ремни и тянет к низу — рама не поддается. На лице старшей отчаяние... Мужчина колеблется с секунду, потом кулак ударяет по стеклу — и оно звенящими осколками летит на платформу.

— Папочка! — кричит старшая. — Мы забыли положить ящик с сигарами — купи в Марселе!

Поезд набирает скорость — розовые платяница отходят назад, и он выносится из-под грохочущего навеса, стрелочка на сплетениях рельс.

— Вопрос решен по-военному, — слышит мужчина около себя низкий бас, — дзинь и готово!

Он оборачивается от окна и видит широкоплечего усача, сидящего напротив на диване.

— Вы порезали себе руку, мсье, — продолжает усач, с восхищением смотря на соседа.

«Папочка» глядит на руку и видит на тыльной ее части красные струйки.

— Позвольте представиться, — говорит усач, привставая с полупоклоном, — полковник 15-й танковой бригады, Жан-Жак Шеба. Еду, как и вы, в Марсель.

— Журбо, Леон Журбо, — отвечает папочка, — астроном парижской обсерватории... Рука, действительно, немного пострадала. Ну, да это пустяки...

Он вынимает платок и перевязывает руку. Смотрит в окно и пугается.

— Ради всего святого, простите, мсье... мсье...

— Шеба, — подсказывает военный.

— Простите, м-сье Шеба, — ведь я могу вас простудить! Мы будем вынуждены ехать без стекла!

Полковник смеется.

— Я военный, м-сье Журбо, — говорит он, — и мне вскоре предстоят такие солидные развлечения, что смешно и думать о простуде. Что же касается стекла, то это тоже пу-

стяк по сравнению с теми осколками, которые скоро за-
свистят по всему миру.

— Да, да, — печально отвечает Журбо. — Я хотя и далек
от политики, но слышал, что международное положение
очень серьезно.

— Оно безнадежно, мсье, — отвечает полковник. — Я
сейчас вызван из отпуска к своей части... Отпуска военным
прекращены во всей Франции. Война — дело ближайшего
будущего, мосье..

— К счастью, — вздохнул Журбо, — у меня нет сыновей.
У меня только три дочери... Вы их видели, они провожали
меня.

— Прелестные девочки... Осмелюсь спросить, а вы едете
только до Марселя, или дальше?

— О, значительно дальше... На Эверест¹.

Полковник оживает.

— На Эверест? На недавно выстроенную обсерваторию?
О, как я завидую вам! Пожалуй, это единственное место на
земном шаре, за исключением, разве, полюсов, куда не
долетит грохот войны. Расскажите мне, мсье, об обсерва-
тории, я знаю о ней не больше, чем полагается каждому
обывателю, т. е. очень немного.

Журбо начинает рассказывать.

На высоте 8.840 метров на уровне моря, там, где раз-
реженный воздух хрустально чист и прозрачен, Междуна-
родная астрономическая ассоциация выстроила обсервато-
рию. Сотни аэропланов и дирижаблей, специально приспособ-
ленных для этой цели, заносили на вершину горы, на
небольшую площадку, окруженную со всех сторон голово-
кружительным обрывом, части будущей обсерватории. Ра-
бочие, сменяемые каждые два часа, в костюмах и шлемах,
защищающих их от разреженного воздуха, собирали эти
части. И выстроили обсерваторию, которая, как муха на сто-

¹ Эверест, гора Гималайского хребта, высочайшая вершина земного
шара.



ге сена, видна в сильные трубы с подножия Эвереста — черная точка на снежной вершине.

Руководил постройкой инженер-механик Грохотов, человек больших знаний и выдающейся энергии. Обсерватория оборудована великолепными инструментами, ставящими наблюдения в совершенно исключительные условия.

— Ну, а как же, — спросил полковник, — поддерживается сообщение с обсерваторией? Ведь нужны припасы, вода... Чем обеспечено поддержание необходимого воздушного давления в помещениях, нормальной температуры?

— Международная Ассоциация наладила регулярное аэропланное сообщение между Лукновым, индийским городом, и обсерваторией. Кроме того, на ней установлен радиотелеграф. В Гайбуке, специально выстроенном поселке у южной подошвы Гималаев, оборудована электростанция, подающая ток на вершину. Насосы для сгущения воздуха, термоэлементы, нагревающие его, механизмы астрономических инструментов приводятся в действие этим током. Бронированный кабель бежит из Гайбука по горе вверх, в обсерваторию.

— Да, это замечательное сооружение, — сказал Шеба. — Вы не боитесь, что в связи с надвигающейся войной возможно прекращение деятельности обсерватории? Ведь Международная астрономическая ассоциация включает, я думаю, в число своих членов представителей и тех государств, которые будут, несомненно, в состоянии войны между собой.

Журбо выпрямляется.

— Мсье, — гордо говорит он, — люди науки не воюют друг с другом.

II. 8, 840 метров

Грохотов взглянул на часы. Без четверти пять. Через десять минут на юго-западе должна показаться хорошо знакомая точка аэроплана.

— Мсье Либетраут! — сказал он, приотворя дверь в соседнее помещение, — через десять минут мосье Журбо будет здесь!

Грохотов заметно волнуется, хотя и старается скрыть это. Маленький, энергичный, крепко владеющий собою старик, он сейчас не находит себе места — три месяца ждал он этого мгновения, как же тут не волноваться!

Либетраут не отвечает. Грохотов смотрит в соседнюю комнату и видит, что она пуста. Поделиться не с кем... Десять минут — вечность! Наконец, появляется и долгожданная точка. Грохотов бежит к камере воздушного шлюза и открывает штору.

Точка вырастает в аэроплан. Две-три минуты, и пяти-сотсильный красавец, с могучими, рассчитанными на десятикилометровый потолок¹ крыльями, садится напротив шторы шлюза.

Из каюты выходит высокое, закутанное в меха существо в маске, глазастой и большеносой. Когда оно входит в шлюз, Грохотов изнутри, передаточным механизмом, опускает штору и, повернув кран воздушного насоса, пускает в камеру воздух. Когда стрелка манометра, вздрагивая, останавливается на 700, он открывает внутреннюю штору и пропускает в комнату гостя.

— Раздевайтесь, раздевайтесь, коллега, — торопит Грохотов прибывшего, помогая ему освобождаться от мехов.

— Дорогой мой, — продолжает Грохотов. — Если бы вы знали, как я рад вашему приезду! Не меньше, чем Робинзон, дождавшийся Пятницы, — честное слово!

Они целуются, для чего Журбо необходимо сильно нагнуться.

— Идемте, идемте, — тянет Грохотов прибывшего за рукав. — Во-первых — есть, есть и есть! Не взыщите за наше меню, это консервы во всех видах.

— А где же мсье Либетраут? — спрашивает Журбо, — вы писали, что он тоже на Эвересте.

¹ Потолок аэроплана — высшая точка, могущая быть им достигнутой.

На лицо Грохотова ложится печать досады. Он пожимает плечами.

— Мсье Либетраут с утра заперся в фотолаборатории. Он, как заведенный механизм, делает каждый день одно и то же, распределяя время по минутам. Это, конечно, очень почтенно, но... невыразимо скучно. Как видите, он и для вас не пожелал изменить своего режима.

— О, я не в претензии, — живо возражает Журбо. Грохотов внимательно смотрит ему в глаза. Тот не выдерживает взгляда и отводит глаза в сторону.

— Предположим, — усмехается Грохотов. — Ну-с, а все же идемте кушать.

За ужином Грохотов расспрашивает Журбо обо всех европейских новостях. Собственно говоря, новость одна — это призрак надвигающейся войны. Но и она для Грохотова не является новостью — в обсерватории установлен радио-телеграф.

— У Либетраута два сына в армии, — говорит Грохотов. — Они аккуратно пишут ему раз в неделю.

— Ну, а как сам он относится к войне? — спрашивает Журбо.

— Его не понять. Он так мало говорит, что вообще не знаешь, какие мысли у него в голове. Даже писем сыновей он не читает сразу по получении — для того отведено полчаса перед сном.

Затем Грохотов рассказывает о жизни в обсерватории. За месяц до приезда Журбо на Эверест прибыл астроном Мадридской обсерватории Хаэн. Но не прожил и недели — впечатлительный и нервный, он не выдержал окружающего безмолвия, мороза¹ и всей необычайности обстановки, захандрил и ночью, когда его товарищи по работе спали, вызвал по радио аэроплан. Несмотря на уговоры Грохотова и презрительное молчание Либетраута, он сел в машину и улетел, страшно сконфуженный, но непреклонный.

¹ На высоте 8, 840 метров, при температуре у поверхности земли в + 15° Ц — температура около – 20°.

— Как видите, дорогой мсье Журбо, — заключил Грохотов, — у нас далеко не весело. Однообразие пищи, мороз, безмолвие, закупоренность и невозможность выйти на воздух страшно действуют на нервы. Становишься раздражительным и нетерпимым к каждой мелочи. Только в работе забываешься, а ее тут сколько угодно.

После ужина Грохотов повел Журбо осматривать обсерваторию. В плане она представляла треугольник, в каждой вершине которого было по куполу, для экваториала, меридианного круга и астрографа с двумя фотокамерами². Купола сообщались коридорами с жилой и служебной частью, последняя же состояла из фотолаборатории, машинной, вмещавшей в себе машины для сгущения воздуха, аппараты для распределения нагревательной сети и прочие приборы. Жилая часть делилась на три комнаты для высшего персонала обсерватории, общую и помещение для низших служащих, в числе которых был один телеграфист и два сторожа. В подвале находились астрономические часы — сердце обсерватории.

При проектировании сооружения Грохотовым, главным автором проекта, были приняты все меры, обеспечивающие здание от утечки воздуха помещений в разреженную наружную атмосферу. У выходов коридоров в помещения инструментов были примонтированы небольшие кабинки, едва вмещавшие двух человек. Кабинки эти с другой стороны были присоединены к окулярам² инструментов. Когда наблюдатель входил в кабинку, то опускал за собою штору, разъединял кабинку от коридора, изолируя последний от разреженного воздуха купольного помещения пу-

¹ Экваториал — телескоп, вращающийся с помощью особого механизма в плоскости, параллельной экватору; направленный на какую-нибудь планету или звезду, следует за ее движением. Меридианный круг — телескоп, неподвижно закрепленный в плоскости меридиана — служит для наблюдения прохождения небесных светил через меридиан. Астрограф — инструмент, служащий для фотографирования небесных светил.

² Окуляр — конец телескопа, у которого помещается наблюдатель.

тем опускания второй шторы — и кабинка совершала путешествие вместе с инструментом.

— Вот здесь, — сказал Грохотов, входя с Журбо в кабинку гигантского, около 30 метров в длину, экваториала и нажатием кнопки разъединяя ее от коридора, — помещается все управление инструментом. Единственное движение, необходимое тут, это нажатие пальцем. Вот ряд кнопок, приводящих в движение, посредством электромоторов, различные части телескопа. Часовой круг, круг склонения, позиционный круг, кольцо для движения окуляра, лампы, шторы купола, кабинки — одним словом, все управляется отсюда посредством кнопочной клавиатуры. Ваша другая рука совершенно свободна. Вот смотрите.

Грохотов нажал кнопку. Экваториал, увлекая за собою кабинку, стал поворачиваться вокруг круга склонения с тяжелой грацией гиганта.

— Вы совершаете путешествие вместе с инструментом, спокойно, как в люльке, — с гордостью удачливого родителя сказал Грохотов.

Показав затем Журбо в других, таких же обширных помещениях меридианный круг, грузно покоившийся на своих цапфах, астрограф и остальные, более мелкие инструменты, Грохотов вместе с ним вернулся в жилую часть обсерватории.

— Я совершенно не вижу радиаторов, обогревающих помещение, — сказал Журбо.

Грохотов хитро улыбнулся.

— Ваш покорный слуга ввел теоретически разработанную раньше, но практически совершенно новую систему отопления. На стены здания, склепанного из стальных листов, могущих, конечно, свободно выдержать давление воздуха изнутри, натянут изолирующий материал, вроде войлока, но значительно менее теплопроводный, а по нему ткань, основа которой состоит из металлической сетки, нагреваемой током до 40°. Нет неприятного движения нагретого воздуха, сопровождающего обычное центральное отопление, нет неравномерности температуры. Эта ткань обтягивает все стены, полы и потолки — одним словом, все, за исклю-

чением окон, что соприкасается с наружным воздухом. Приложите руки к стене.

Журбо повиновался — и ладонь его восприняла то ощущение, которое появляется при прикосновении ко лбу больного, — ощущение слабо нагретой поверхности.

— Да, много, много усилий было потрачено на осуществление всего этого, — задумчиво сказал Грохотов, сидя вместе с Журбо после обхода в общей комнате. — Я вижу на вашем лице выражение восхищения всем виденным — и это вполне вознаграждает меня за долгие годы труда. На лице этого сухаря Либетраута я такого выражения не видел. Только им, правоверным немцам, полагается обезьян выдумывать...

— Разрешите войти, — услышали собеседники голос из-за двери.

— Легок на помине, — шепнул Грохотов, — пожалуйста, пожалуйста.

Либетраут, высокий, худой, горбоносый, с зачесанными вверх усами, вошел в комнату.

— Я должен извиниться перед мсье Журбо, — сказал он, — что не был в состоянии его встретить. Накопилось много астротграмм¹, которые необходимо было проявить.

Журбо почему-то сконфузился. Уверенный тон Либетраута, скрытая подчеркнутость того, что никакое, самое исключительное событие не может повлиять на его интересы, создавали ощущение какой-то виновности.

— Конечно, конечно, — заторопился Журбо, — я нисколько не в претензии...

— И кажется, даже готов извиниться перед вами, — досадливо усмехнулся Грохотов, — что прибыл в часы ваших занятий.

— Извиниться должен я, — не понимая или делая вид, что не понимает едкой шутки Грохотова, упрямо повторил Либетраут.

Журбо поспешил переменить тему разговора.

¹ Астротграмма — астрономический негатив.

— Великолепное здание, не правда ли? — обратился он к Либетрауту. — Сколько ума, творческой энергии и труда вложено в него. Как тут не гордиться человеком и его достижениями!

— Ну, насчет гордости вы оставьте, дорогой мой, — попыхивая трубкой, возразил Грохотов. — Не пройдет, думаю, и недели, как вся ваша хваленая творческая энергия начнет стрелять из пушек, отравит воздух и людей всякими люизитами, горчичными газами и прочей мерзостью...

— Да, это ужасно, — сказал Журбо. — И мы, как люди науки, не можем не чувствовать особенно остро всей глубины падения человечества. Я во время пути видел всюду лихорадочные приготовления к войне. В Марселе спешно грузится углем французская эскадра, город наводнен войсками, в Суэце, Адене и Бомбее стоят на парах английские суда, около острова Сокитра мы встретили направляющуюся на запад немецкую эскадру.

— Немецкую? — переспросил Либетраут.

— Да... Опять десятки государств будут втянуты в войну только потому, что Франция и Германия что-то не поделили между собой.

— Когда вас хватают за горло, как схватила Франция Германию, — жестко ответил Либетраут, — то это называется не дележом, а грабежом.

Грохотов свистнул.

— Ого! — протянул он, — да никак уважаемый мсье Либетраут не только человек науки, но немного и патриот!

III. Кратер Коперника

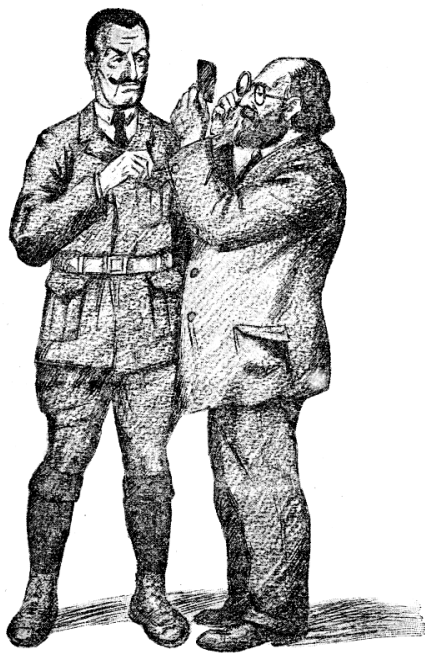
— Вот это астрограммы туманности Андромеды, это луны. Меня заинтересовал проход терминатора¹ у Mape Umb-rium. На этом снимке вы можете убедиться в

¹ Терминатор — линия, определяющая границу света и тени на луне.

замечательной ясности и резкости изображений, даваемых астрографом.

И Либетраут передал Журбо негатив.

— Последняя четверть, — сказал тот, рассматривая изображение. — Действительно, замечательная резкость... Терминатор проходит через Тарунций, Море Спокойствия, Гигинус, между Рейнгольдом и Коперником¹... Пойдите, пойдите!! — вдруг вскрикнул Журбо, поднося негатив почти к самым глазам и внезапно замолкая.



— Что такое? — заинтересовался Либетраут, придвигаясь к Журбо и нагибаясь над пластинкой.

Журбо молчал, как будто в нерешительности.

Потом неуверенным тоном проговорил:

¹ Названия лунных кратеров.

— Не то повторяется ошибка Пульфриха, который принял за обвал просто дефект фотографической пластинки, не то действительно астрограмма зафиксировала нечто для меня сейчас не совсем понятное.

— В чем же дело? — с легким оттенком нетерпения спросил Либетраут.

— В кратере Коперника заметно какое-то помутнение — одну секундочку.

Журбо вынул из жилетного кармана лупу и навел ее на указанную точку. Навел — и опустил на стул, грузно, внезапно размякший, с бешено бьющимся сердцем. Потом опять поднес пластинку к глазам.

— Нет, это не дефект, мсье Либетраут. Это, это... даже язык не поворачивается высказать догадку... Неужели это следы атмосферы — на мертвой, безжизненной луне? Раньше никогда ничего подобного не замечалось, если не считать сомнительных наблюдений Пикеринга... Одним словом, коллега, я ничего не понимаю...

Либетраут вынул пластинку из рук Журбо и стал ее внимательно рассматривать.

— Да, действительно, — констатировал он, — помутнение налицо. И это не дефект. Пластинки, отправляемые на Эверест, вне всяких подозрений.

— Когда вы делали снимок, мосье Либетраут? — спросил Журбо.

— Восемнадцатого числа...

— Восемнадцатого... м... — задумчиво повторил Журбо.

— Сегодня седьмое... Девятнадцать дней... Кратер Коперника уже вышел из тени и теперь виден... Сегодня вечером мы у экваториала, коллега.

Когда стемнело, — почти внезапной, бесумеречной тропической темнотой, и луна озарила снежные вершины гималайского хребта своим безжизненным сиянием, — Журбо и Либетраут заперлись в кабинке экваториала.

Нажатие двух, трех кнопок — и величественно поплыл объектив телескопа по почти черному небу, огненным дождем пересекая звезды, планеты, туманности. Наконец в его

центре появилась огромная, блистающая луна, на три четверти залитая солнечным светом.

Жадно приник Журбо к окуляру... Сомнений не было! Пятно, запечатленное пластинкой, увеличилось почти вдвое, вытянулось к середине кратера, к горам в его центре.

Журбо убедился, что оно замечательно похоже на остатки тумана в горах, на легкие облака влаги, ночующие в складках гор, тающие от первого луча утреннего солнца.

— Разрешите мне, — услышал Журбо над своим ухом голос Либетраута и почувствовал, как на его плечо легла тяжелая рука.

«Ого, не стесняется»... подумал он, но тут в своей душе и извинил и понял его нетерпение — явление было действительно исключительное.

А когда Либетраут сел у окуляра, он стоял около и думал о том, что за всю историю астрономии небо ни разу не посылало такой загадочной картины... а разгадки все еще не было.

Через пять часов наблюдения, уже на рассвете, заглянув в последний раз в телескоп, Журбо мог с определенностью сказать, что и за это, сравнительно короткое, время пятно увеличилось, вытянувшись к центру кратера километров на тридцать.

«Если так будет продолжаться, — думал он, — то при диаметре кратера в девяносто километров он завтра весь затянется облаком...»

Усталые, разбитые, с воспаленными от долгого наблюдения глазами, вернулись они в общую жилую комнату.

— Ну-с, дорогой коллега, — спросил Журбо Либетраута, — что вы обо всем этом думаете?

Тот молчал. Заложив руки за спину, ходил по комнате. Наконец, сделав несколько концов, остановился перед Журбо.

— Я очень осторожен в выводах, мсье Журбо, — сказал он. — Явление настолько необычно, что может дать пищу тому совершенно неприемлемому для меня, как ученого, занятию, имя которому — научная фантазия. Подождем...

«Да, он скорее удавится, чем разрешит себе это удовольствие», — с досадой подумал Журбо. — Я несколько не согласен с вами, коллега, — продолжал он, — научная фантазия — великий двигатель, потому что порождает любовь к той же науке у тысяч людей.

— Наука вовсе и не нуждается в любви к ней, — сухо ответил Либетраут, — да вряд ли она и нужна этим тысячам.

— А для чего мы работаем?! — вскочил Журбо, чувствуя, что к его горлу подступает тот нервный клубок, который, независимо от его воли, все чаще и чаще давал себя знать при его разговоре с Либетраутом. — Для чего сидим тут отшельниками, лишенные свободы, людей, нормальных условий существования?

Грохотов, вошедший в этот момент в комнату, остановился в дверях и прислушался.

— Для чего сидит тут мсье Грохотов, еще более пожилой человек, чем мы с вами? Ведь у него семья, ведь для него еще более, чем для меня и вас, вовсе было бы не лишнее отдохнуть, пожить среди любящих людей, да просто полежать на траве и послушать пение птиц!..

— Мы немного уклоняемся в сторону, — ответил Либетраут, — это все имеет мало отношения к первоначально заданному вами вопросу об явлениях в кратере. Мы можем только констатировать какой-то процесс, причины и сущности которого не знаем и, может быть, не узнаем никогда. Повторяю, я враг догадок, а кроме того, ужасно устал. Покойной ночи.

И он ушел в свою комнату.

Грохотов подсел к Журбо.

— Это какая-то схема, а не человек, — пожаловался Журбо. — Знаете, в медицине есть выразительный термин — идиосинкразия... Это когда человеческий организм не воспринимает чего-нибудь такого, что по своей сущности совершенно безвредно... Земляники, например. Моя младшая дочь, здоровый во всех отношениях ребенок, ее совершенно не выносит. Съест одну ягодку, — и все тело покрывается какой-то сыпью... Так и я с Либетраутом. Чувствую,

что во мне поднимается чисто физическое отвращение к нему, хотя он, может быть, вовсе не плохой человек и мне ничего худого не сделал.

И, махнув рукой, Журбо начал рассказывать Грохотову о всем виденном в экваториал.

— Это замечательно, дорогой мсье Журбо, — выслушав его и тяжело вздыхая, ответил старик, — и я от всей души поздравляю вас, потому что вы, несомненно, накануне какого-то изумительного открытия, но... — и он вытащил из кармана узенькую, как серпантин, ленту радиограммы.

— Я тоже целую ночь не спал, чтобы прочесть вам эту отбитую в 11 часов вечера ленту. Вот слушайте — радиограмма Лукновской коротко-волновой станции: «Германия отклонила ультиматум Франции о разоружении. Война объявлена», а в половине первого телеграфист принес мне вот эту ленту: «Началась бомбардировка Берлина газовыми снарядами. Весь юго-западный район города окутан облаками ядовитого газа. Шарлоттенбург, Груневальд, Шмагендорф, Лихтерфельде тонут в облаках светло-лилового, имеющего сильный лимонный запах, газа... В Потсдаме вымерло все население... Батареей, установленной в Кепенике, сбито три французских аэроплана-бомбомета... Вода в Фарландерзее и Гафеле, отравленная газами, превращается в какой-то, имеющий все тот же лимонный запах, студень... Газ движется к северу, к Вильмерсдорфу и Шенебергу»... О, черт! — выругался Грохотов, разрывая ленточный клубок, — я не хочу читать дальше о всей этой мерзости!!!

IV. Начинается...

«М-сье Леону-Жаку Журбо. Эверест. Обсерватория М. А. А. Париж. 28 июня 194* года.
Дорогой папочка!

У нас очень скверно. Все уезжают из Парижа. Уехали Агессо, Ла-Буардоны, Лоссье. Ходят слухи о готовящейся атаке Парижа Германией, причем говорят о каких-то микробах, которые будут

заражать все вокруг какой-то страшной болезнью. Мы очень боимся и целый день плачем. Я сейчас иду к мадемуазель Журдэн и попрошу ее, чтобы она взяла нас с собой в Тулузу, куда она едет к своему брату.

Дорогой папочка, ты о нас не беспокойся. Все мы здоровы, и думаем, что ничего с нами не случится. Каково-то там тебе, среди холода, почти одинокому. Я уже кричала тебе на вокзале, когда ты разбил стекло, что мы забыли положить в чемодан сигары. Купил ли ты их в Марселе? Кто тебе штопает носки, стирает белье? Мы все об этом очень беспокоимся.

Крепко, крепко целуем тебя, дорогой папочка. Будь здоров и не беспокойся о нас.

М а р и.
Н и н е т.
Л у.»

Журбо держал в руках синенький листок бумаги и думал о том, что события, проносящиеся с грохотом по далекой Европе, неожиданно и грубо прикоснулись и к нему... И хотя он не сомневался в том, что страхи детей несколько преувеличены, чувство беспокойства овладевало им все сильнее и сильнее. Он сейчас же дал радиogramму в парижское справочное бюро с просьбой сообщить, уехали ли дети, другую — в Тулузу, мадемуазель Журдэн, с запросом, приехала ли она и взяла ли с собой детей.

То обстоятельство, что с момента отправления письма, пересланного экстренной авиапочтой, прошло пять дней и что за эти пять дней радио не принесло никаких известий об атаке Парижа, значительно успокаивало его. А когда, час спустя, справочное бюро прислало ему ответную радиogramму, в которой сообщалось, что дети 30 июня выехали из Парижа, он успокоился совершенно.

В том состоянии почти физической расслабленности, которая особенно сильна у глубоко переживающих людей после душевных потрясений, он отправился к кабинке экваториала.

Проходя мимо комнаты Либетраута, он хотел было постучать в дверь, но тут же почувствовал, что не в состоянии

оставаться в течение нескольких часов с глазу на глаз с человеком, весь образ которого, отчасти сам по себе, отчасти в связи с только что пережитыми минутами, был ему неприятен.

Почувствовал — и прошел мимо. Пройдя несколько шагов, поймал себя на недостойном ученого чувстве национальной неприязни и, чтобы наказать себя за него, хотел уж было вернуться и постучать в дверь. Случайно брошенный взгляд на широкое окно коридора показал ему сверкающую луну во всей ее прелести и созданной событиями в кратере таинственности. Махнул рукой и прошел дальше.

И лишь только она, огромная, близкая, остановилась, дрожа, в центре объектива, Журбо, впившийся взором в кратер, увидел, что пятно не исчезло, а наоборот, несколько увеличилось.

А спустя две-три минуты он чуть не вскрикнул от неожиданности: на северо-западной, свободной от пятна части кратера появилось крохотное белое облако. Несколько секунд спустя — другое, третье...

— Я начинаю понимать! — воскликнул он, отрываясь от телескопа и в волнении вскакивая, — кто-то бомбардирует кратер снарядами, начиненными водяными парами и воздухом!

В это мгновение сигнальная лампочка, находившаяся на левой стене кабинки, вспыхнула фиолетовым светом.

— Либетраут требует кабинку к шторе коридора, — догадался Журбо. — Нет, нет, я буду преступником перед наукой, если позволю в настоящий момент оторвать себя от наблюдений!

Лампочка гасла и вспыхивала, нетерпеливая, раздраженная, взбешенная... Журбо вывинтил ее и прильнул к окуляру, мимолетной усмешкой сравнивая себя с собакой, удирающей в уединение с добытой костью.

Количество облачков постепенно увеличивалось. Целыми десятками, сотнями появлялись на поверхности кратера маленькие белые пятнышки, расплывавшиеся и соединявшиеся друг с другом и, наконец, в северо-западной час-

ти его образовалось второе большое облако, подобно первому.

А когда луна, поблекшая, стертая зарей, скрылась из поля зрения инструмента, он прервал наблюдение и со всех ног побежал в комнату Грохотова.

— Дорогой мой! — кричал он, встряхивая сонного Грохотова в постели и чуть не плача от восторга, — да знаете ли вы, что это такое?! Да ведь это колонизация луны!! Мертвой, безжизненной луны!!!

Немного успокоившись и посвятив Грохотова во все виденное, он стал большими шагами ходить по комнате.

— Что это дело рук разумных существ, не подлежит ни малейшему сомнению, — говорил он, размахивая руками, внимательно слушавшему, сидящему в одном белье на постели, в позе турка, с трубкой в зубах, Грохотову. — Людей, да, людей! Не важно, что они не похожи на нас, не важно, что они, может быть, в несколько раз больше или меньше нас. Что, может быть, у них нет рук, а есть крылья, что они, повторяю, по внешности совсем, совсем не такие, как мы... Это все равно! Это мыслящие существа, это люди. Да, люди! О, дорогой мой! — воскликнул он, снова и снова загораясь восторгом и подбегая к Грохотову, — позвольте мне... поцеловать вас!

И, не дожидаясь согласия, приник губами к жесткой, как терка, щеке старика.

Тот вынул трубку изо рта, обнял Журбо за шею — и возвратил ему поцелуй. В серых глазах старого механика мелькнуло что-то милое, что Журбо почувствовал полнейшую уместность своего порыва.

— Какая смелость, какое величие, — садясь рядом с Грохотовым и беря его за руку, продолжал Журбо. — Жители ли это Меркурия, Венеры, Марса или какой-нибудь другой планеты — но как они далеко ушли от нас... Бомбардировать определенную точку за десятки, а может быть, и сотни миллионов километров, бомбардировать наверняка, по заранее разработанному плану — какими колоссальными, в сравнении с нашими, земными знаниями, нужно обладать!

— Пытаться вернуть к жизни вычеркнутое из жизни, кинуть вызов природе, всему мирозданию — какая смелость, какая красота!..

Резкий стук в дверь прервал его слова.

V. Претензия

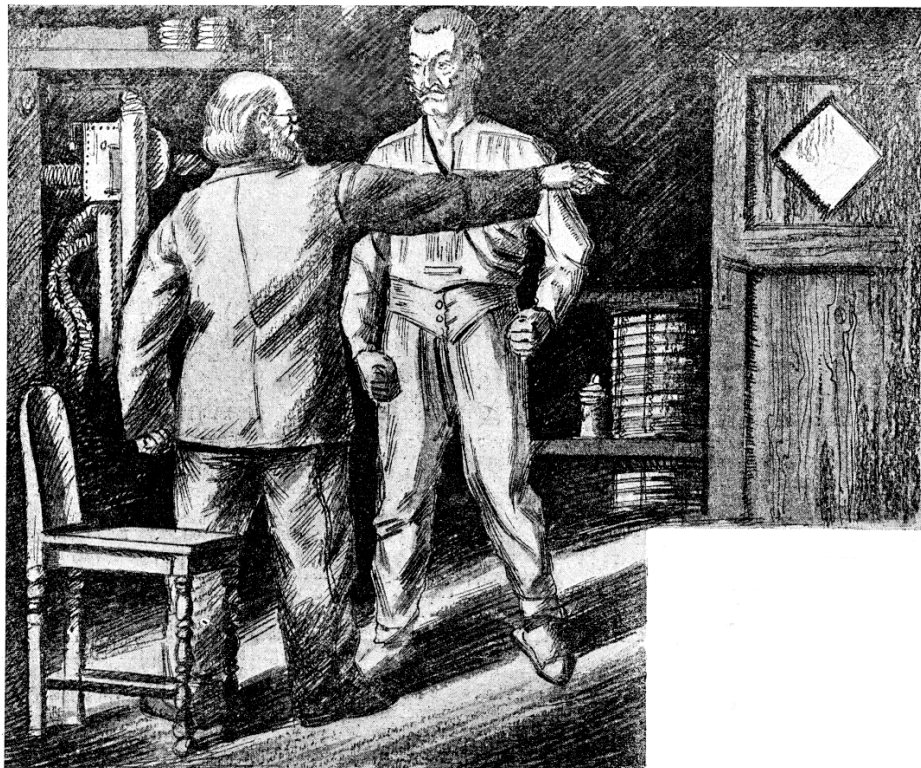
— От имени Международной астрономической ассоциации я выражаю астроному Парижской обсерватории Леону Жану Журбо претензию в нижеследующем, — начал Либетраут, входя в комнату. — Астроном Журбо, вопреки правилам научной и общечеловеческой этики, взял на себя смелость присвоить открытие другого ученого себе, что выразилось в недопущении этого ученого к совместному наблюдению.

И в одном белье, тонкий и прямой, как свеча, Либетраут остановился посреди комнаты. Журбо встал.

— Позвольте, мосье Либетраут, — сказал он. — Я вполне понимаю вашу претензию в той части, которая говорит о том, что я не пригласил вас в кабинку экваториала — я в этом виноват и приношу свои глубочайшие извинения. Что же касается ваших слов о присвоении мной вашего открытия, то я тут ничего не понимаю и попрошу вас высказаться яснее...

— На кратер Коперника было обращено внимание благодаря сделанной мною астрограмме, мосье Журбо. Иначе вам, как специалисту по малым планетам и прибывшему на Эверест, как я знаю, для их наблюдения, не пришлось бы в голову заняться луной, тем более с первых же дней своего приезда.

— Вы понимаете или нет, — вмешался в разговор Грохотов, тоже вставая с постели, — в чем обвиняете мосье Журбо? Как у вас язык повернулся на это? Ведь вы обвиняете известного ученого, человека со славным, беспорочным научным именем в научном воровстве, которое несколько не лучше, чем всякое другое! И при чем тут Международная



ассоциация, от имени которой вы взяли на себя не только смелость, а больше — дерзость выступить?

— Мосье Либетраут, — дрожащим голосом, чувствуя, что в висках начинает биться кровь неровными, порывистыми толчками, а к горлу подступает клубок волнения, сказал Журбо, — попробуем спокойно обсудить положение... Если бы я не обратил на астрограмму внимания, ничего не заметили бы и вы. Она лежала бы в вашей коллекции неопределенно долгое время, до первого случая, который бы обнаружил изменения в кратере. Поэтому полагаю, что честь открытия принадлежит ни вам, ни мне, а исключительно этому случаю... А теперь... — Журбо остановился, задышавшись, кладя руку на безумно бьющееся сердце, — удалитесь из комнаты, потому что я не могу поручиться за себя... — шепотом закончил он.

В этом шепоте была такая значительность, так очевидна была хрупкость преграды, удерживавшей еще Журбо от движения вперед, от крика, от сокрушительного удара, может быть, что Либетраут повернулся и несколько быстрее, чем это можно было ожидать от размеренности его движений, закрыл за собою дверь.

— Бросьте, дорогой, — говорил несколько минут спустя Грохоув сидящему на кровати и закрывшему лицо руками Журбо. — У нас, у русских, есть хорошая пословица: собака лает, ветер носит. Претензия его настолько нелепа, что не может даже и оскорбить. Разве может оскорбить запах из уборной? Зажмите нос и шагайте мимо... а я уж устрою так, чтобы его скорее убрали отсюда — он и мне начинает действовать на нервы.

Раскуривая заглохшую трубку, он продолжал:

— Поговоримте лучше о той сказке, которая делается на луне... Да... Так вот, дорогой, продолжаю вашу мысль. Если это марсиане, то им, чтобы попасть на луну, придется сделать, приблизительно, пятьдесят миллионов километров в междупланетном пространстве. Если их снаряд будет лететь со скоростью десяти километров в секунду, т. е., примерно, в тридцать раз быстрее скорости звука, им придется потратить на это путешествие пять миллионов се-

кунд, или, — Грохотов приостановился, подсчитывая, — около шестидесяти дней... Если же это жители Юпитера или одного из его спутников, то им предстоит путь, примерно, в шестьсот миллионов километров — я не перевираю расстояний, дорогой мой? Тут потребуется шестьдесят миллионов секунд или около двух лет... Два года лететь в абсолютной пустоте, в бесконечном океане пространства! Да, действительно, изумительной умственной организацией нужно обладать, чтобы выполнить все это, — вздохнул Грохотов.

— Но почему же, мосье Грохотов, — спросил Журбо, отнимая руки от лица, голосом, в котором еще слышались нотки волнения, — мы, люди, все еще не можем достигнуть этого? Ведь история культуры насчитывает чуть ли не десяток тысяч лет... Неужели этого все-таки мало?

— Ну, от вас, от ученого, я не ожидал подобных вопросов! — отчего-то вдруг рассердился Грохотов. — Почему? Да потому, что нет ничего более нелепого, чем эта история! Мы, люди, делали шаг вперед, чтобы потом сделать два шага назад — и это на протяжении ваших десяти тысяч лет... Дали Египет, Ассирию, Вавилонию, создали Грецию и Рим, а затем запели псалмы и начали топить культуру в крови инквизиционных застенков, жечь ее на кострах средневековья!.. Собирали по крохам — и ломали сразу, в грохоте сражений, чаду религиозных предрассудков, классовой и политической ненависти! Потому, дорогой, что все еще человек человеку волк. Вот и сейчас эти милые земные люди схватили друг друга за горло... вертись, земля, поражай мироздание своей красотой!

VI. Выстрел

«Эверест, Обсерватория М. А. А. 5/VII 194*

Мсье Жану Журбо.

Сестра с детьми не приезжала. Беспокоюсь. Из Парижа никаких известий.

Мишель Журдэн».

— Да ведь они выехали 30 июня, ведь Справочное бюро дало официальную справку! — почти плача и размахивая перед Грохотовым телеграммой, кричал Журбо. — Я ничего не понимаю и страшно беспокоюсь, что же это такое наконец!

Грохотов молчал. Бросать слова неискреннего утешения не хватало духа.

Он размышлял, сопоставляя отдельные факты. Еще вчера радиотелеграфист Крамарек с недоумением говорил ему, что вот уже несколько дней Париж молчит — вообще в работе радиостанций за последнее время отмечалось что-то непонятное... настройка почти не удавалась, волны самым неожиданным образом меняли свою длину, прием прерывался шумами разрядов, безусловно не атмосферного происхождения, в силу их правильности и даже периодичности.

Как будто кто-то неизвестный налаживал работу, должествующую сбить с толку, своего рода радио-резинку, поспешно стирающую воздушные волны, оставляя от них одни путанные, неразборчивые лохмотья. Спешно по всему миру возобновлялись оставленные было проводные сообщения. Этим же путем, через Гайбук, была получена и настоящая телеграмма.

— Утро вечера мудренее, дорогой мой, — единственное, что нашелся сказать Грохотов. — Ложитесь-ка спать, может быть, завтра все выяснится.

С тем же недоумением на лице, растерянно продолжая держать телеграмму, расстроенный, ушел Журбо в свою комнату.

А Грохотов прошел в помещение телеграфа.

— Ну-с, м-сье Грохотов, — оборачиваясь на шаги, сказал Крамарек, чем-то сильно взволнованный. — Я начинаю понимать неразбериху последних дней. Вот что я сейчас принял через Гайбукскую станцию.

«В ночь с 28 на 29 июня Париж занят немецкими войсками, подготовившими артиллерийскую, газовую и бактериологическую атаку города, который частично разрушен. Население, не успевшее уйти, погибло. Немцами заняты



все правительственные учреждения. Эйфелева башня, усиленная новыми установками, мешает работе европейских станций».

— Так вот в чем загадка, — оглушенный известием, прошептал Грохотов. — Бедный, бедный город! Несчастные погибшие люди!..

— Да, Крамарек, — сказал он, — теперь понятна и та телеграмма Справочного бюро, которую получил Журбо. Немцы, погубив целый город, не отказали в своеобразной любезности, ответив человеку со славным научным именем, — ответив, правда, ложью... Знаете, Крамарек, когда так называемый «культурный» человек дичает, он становится в тысячу раз омерзительнее природного дикаря...

«О, сколько лет жизни я отдал бы, чтобы судьба избавила меня от этой мысли — сообщать человеку, которого я люблю, об обрушившемся на него горе... Несчастный человек, несчастные дети...» — думал он, направляясь к комнате Журбо.

Идти было нужно... Грохотов не мог представить себе возможности оставления Журбо в состоянии неведения — это противоречило всей его, грохотовской, прямой, честной и мужественной натуре.

И он пошел. Пошел и сказал... не скрывая ничего, нанося удар прямо в сердце — другого выхода он не видел...

Журбо не плакал. Это было сильнее слез... Слезы — облегчение, противоядие страданию... Глаза были сухи, и ни одного слова не сказал Журбо в ответ. Лежа на кровати, повернулся к стене и движением руки дал понять Грохотову, чтобы тот ушел.

...Ночью Грохотов проснулся от страшного шума, беготни по коридору, криков. Металлические стены здания гулко резонировали на топот ног — все оно наполнилось звенящим шумом.

... А затем, оглушительно разрывая воздух, прогремели два выстрела.

VII. Огни

— Мы прибежали, когда мосье Либетраут уже лежал на полу, — рассказывал под утро Грохотову сторож обсерватории, японец Хокуто.

— Да, — подтвердил радиотелеграфист Крамарек, — это было, приблизительно, в 3 часа утра. К этому времени кончалось дежурство Хокуто и он собирался идти спать.

— Пойдите, Крамарек, — перебил его Грохотов. — Мне важно знать следующее — не известно ли что-нибудь, предшествовавшее выстрелу? Ведь ваша сторожка, Хокуто, находится рядом с общей комнатой, где был поднят Либетраут. Может быть, вы что-нибудь слышали?

— Совершенно верно, мосье Грохотов, — ответил японец, — я кое-что слышал, отрывками.

— Хокуто мне рассказывал, что мосье Журбо...

— Да пойдите же, Крамарек! — рассердился Грохотов. — Вы слишком словоохотливы, а из Хокуто слова не вытянешь. Пусть Хокуто рассказывает по порядку.

— Приблизительно в половине третьего в общую вошел мосье Журбо. Я его узнал по шагам. Он ходил по ней минут с десять, а потом вышел. Затем он постучал в дверь мосье Либетраута. Я это наблюдал из коридора — не скрою, несвоевременность разговора меня заинтересовала. Когда мосье Либетраут вышел, мосье Журбо спросил его в упор: «Скажите, уважаемый коллега, ваши доблестные сыновья тоже участвовали в убийстве моих детей?» — я привожу эту фразу дословно. М-сье Либетраут, видимо, напуганный словами и выражением лица м-сье Журбо, скрылся в комнату, закрыв за собою дверь. М-сье Журбо бросился туда, несколько секунд были слышны голоса обоих, потом м-сье Либетраут выбежал, бросился по коридору, м-сье Журбо за ним. Они пробежали весь коридор, м-сье Либетраут кинулся в общую, там его настиг м-сье Журбо и выстрелил в него. Вот и все, что я знаю.

— Как состояние здоровья м-сье Либетраута? — спросил до сих пор молчавший второй сторож, Ганетти.

— Раны не опасны, насколько я могу судить, — ответил Грохотов. — Никаких осложнений, видимо, не будет. Но полежать с месяц в постели ему все-таки придется.

— А что с м-сье Журбо? — опять спросил Ганетти.



— Я, как старший в обсерватории, наложил на него домашний арест. Он сидит в своей комнате, имея право выхода только для наблюдений.

— Не находите ли вы, м-сье Грохотов, что домашний арест для такого ученого, как м-сье Журбо, довольно-таки суровая мера?

— Нет, Ганетти. Единственное, что я нахожу, так это то, что вы слишком много себе позволяете, задавая такие вопросы. Это мне не нравится, Ганетти, предупреждаю вас.

...Да, многое не нравилось Грохотову за последнее время. Война определила враждующие расы — и она же здесь, казалось бы, на недостижимой для нее вершине определи-

ла если не прямо враждующих, то, по крайней мере, настороженных по отношению друг друга людей...

Итальянец Ганетти довольно определенно сочувствовал французу Журбо. Чех Крамарек был всецело на стороне Либетраута. И если японец Хокуто был бесстрастен, то, может быть, потому, что на Эвересте не было ни одного из представителей враждебных Японии государств. Последующие дни ничего утешительного в этом отношении не принесли. Радио передало, что Франции, после поражения под Парижем, пришлось выдержать бесславный морской бой с Англией, неожиданно объявившей ей войну — около Антильских островов. Отношения между Японией и Америкой обострялись с каждым днем, и единственно, что удерживало их от неминуемого столкновения, это невыясненность ориентировки по отношению уже враждующих государств.

Поднимались и порабощенные страны. Китай снова сжал свой кулак против Англии, и против нее же, наконец, выступила Индия, поддерживаемая Афганистаном. Под Дели молодая индийская армия разбила в пух и прах двадцатитысячный отряд генерала Блекстона, южнее Кантона завязывалось сражение между китайскими и английскими войсками. Ворочался Сиам, ожидая момента, чтобы вцепиться в ногу кого-нибудь пожирнее, Япония приготовилась к прыжку на восток..

В огне и дыму битв ковались новые гигантские ножицы судьбы, которые должны были перекроить карту мира...

С каждым днем отношения среди горсточки заброшенных на Эверест людей становились все хуже и хуже. Спустя две недели после выстрела Журбо Ганетти «позабыл» принести обед Либетрауту, и тот пролежал целый день голодный — это случилось на следующий день после объявления Германией войны Италии. Крамарек хлопнул его за это по физиономии, и Грохотову пришлось посадить обоих на сутки под арест. Он чувствовал, что пройдет неделя, другая и от его авторитета не останется и следа...

Нужно было как-то действовать.

И он нашел — как.

Ночью, когда Крамарек спал, он прошел в помещение радиотелеграфа и сильным ударом по лампочкам разрушил их волосы. Эверест потерял с миром последнюю связь...

А под утро прилетел аэроплан Международной ассоциации, и авиатор, выгрузив продукты, сообщил, что это последний регулярный рейс, что все аппараты реквизированы Англией для военных целей и она обязуется выполнять лишь доставку провианта, не гарантируя правильных почтовых сообщений.

Когда, после новолуния, на вечернем небе занялся молодой месяц, Грохотов вспомнил, что вот уже более трех недель Журбо и Либетраут не делали наблюдений. Либетраут все еще был прикован к постели, Журбо просто не выходил из комнаты.

Грохотов зашел к нему. Журбо сидел у стола все в той же неизменной позе последних дней — положив локти на стол и уткнув в них голову.

— М-сье Журбо, — сказал Грохотов, прикасаясь к плечу сидящего, — что вы скажете насчет наблюдений над кратером?

— Да... Кратер... А я совсем забыл о нем... Постойте... ведь сейчас первая четверть, кратер не виден...

— Вы правы, м-сье Журбо, еще рано.

— Дней через пять я сделаю первое наблюдение. Если вы не очень заняты, проверьте окулярное кольцо — оно, кажется, ходило не совсем свободно. Испортили его немцы...

Грохотов нагнулся и сбоку взглянул на Журбо — тот смотрел перед собой — и в зрачках его бегали те огоньки, которые зажигает начинающееся безумие.

«Эх, бедняга, бедняга, — подумал Грохотов, — и твой большой, светлый мозг тоже, кажется, испорчен этой проклятой войной... счастье, если не навсегда...»

— Немцы тут не при чем, дорогой... А кольцо я сейчас проверю — мне тоже показалось, что его немного заедает...

Когда огромный лунный серп глянул на него в телескоп и Грохотов, проверяя кольцо, стал всматриваться в резко очерченную ломаную линию терминатора, обозначающую рельеф гор, а потом взглянул немного повыше, то сразу,

как неожиданно упавший в воду человек, вздохнул отрывисто и шумно.

На месте кратера что-то блестело. Вглядевшись пристальнее, Грохотов увидел ряд крохотных светящихся точек. Двумя правильными концентрическими кругами, с центром примерно в середине кратера, светились эти точки, как искорки миниатюрной алмазной брошки.

— Сказка... сон... — прошептал Грохотов, откидываясь на спинку кресла.

...Когда разгорелась заря, лунный серп стал бледнеть и таять, а с ним, стертые солнечными лучами, исчезли и огни.

В состоянии какого-то умиленного восторга вернулся я Грохотов в свою комнату и задумчиво сел на кровать.

— Это не фонари, — размышлял он. — При свете почти полной земли, более яркой, чем свет полнолуния, раз в четырнадцать, пожалуй, нет нужды в освещении. По всей вероятности — это отверстия огромных печей, назначение которых — бороться с холодом¹ двухнедельной ночи...— Кто там? — крикнул он, услышав стук в дверь.

На пороге комнаты стоял Крамарек, бледный, как тот серп, который Грохотов сейчас наблюдал. Глаза его были широко открыты и в них застыл ужас.

— М-сье Грохотов, — пробормотал он, задыхаясь, — в кабеле нет тока... амперметр и вольтметр стоят на нуле...

VIII. Солдаты его величества

Миссис Гульд из Норвича не узнала бы своего сына Томми, всегда такого чистенького пай-мальчика — в этом дол-

¹ Ученые держатся различных мнений о температуре лунной ночи, принимая ее от 180° до 250° Ц. Температура же лунного дня по тем же предположениям подымается до 100° и даже до 200° Ц.

говязом разлохмаченном страшилище, в изорванном хаки и с повязанной головой.

Кузнец Ридинг из Нотингэма тоже не узнал бы в искаленном, изможденном существе с воспаленными глазами своего младшего брата Нормана, весельчака и сорви-голову, свободно крестившегося трехпудовой гирей.

Мрачный Тодди Бэнкс, конторщик Плимутской торговой конторы, аккуратный и монотонный, как часы — тоже потерял свой образ.

Эти трое бродяг — Томи Гульд, Норман Ридинг и Тодди Бэнкс, изголодавшиеся, измученные человечьи тени, были не чем иным, как осколками разбитого вдребезги отряда имени его величества принца Уэльского Дэвонширского 38-го пехотного полка.

Еще недавно, каких-нибудь три недели тому назад, сидя в одной из калькуттских таверн и попивая не слишком хорошее, соответствующее его скромному бюджету, вино, Норман Ридинг доказывал своим собутыльникам, что единственное на свете, стоящее внимания — это сестры Хэнтер, Долли и Мэдж, а все прочее — гниль и ерунда.

А затем — спешная мобилизация и марш на север. Дальше — сокрушительный ураган индусской конницы, несколько мгновений — часов Дантова ада и синее далекое небо над лежащим на спине, раскинув руки и ноги, Норманом Ридингом.

Из отряда, попавшего в мешок, ловко накиннутый индийским командованием, остались эти трое. Кое-как перевязав друг другу не слишком тяжелые раны, тронулись они по неизвестному направлению — лишь бы уйти от этих сотен остеклившихся глаз, сведенных в последней хватке за жизнь членов, от повисшего уже над плато тяжелого смрада.

Пугаясь собственных шагов, шарахаясь в сторону от каждого звука, рожденного обступившими их со всех сторон зарослями мангрового леса, питаюсь какими-то похожими на салат-латук листьями, на которые им указал Тодди Бэнкс, ночуя, прижавшись друг к другу, под зелеными шатрами деревьев — брели они неизвестно куда.

Оружие — винтовка Томми Гульда с шестью патронами и ручная граната у пояса Ридинга — придавало им некоторую бодрость.

Но это — днем. Ночью же, несмотря на винтовку и гранату, шум леса подползал к горлу неизъяснимым страхом, перехватывая дыхание, шарил по спине мелкой, холодной дрожью.

И вот на шестой день своих блужданий, на поляне, окаймленной каштановыми деревьями, на берегу горного потока, увидели они здание. Бэнкс, заметивший его первый, даже протер глаза, не веря себе, до того оно было неожиданным.

Из здания сквозь рев потока несся ритмический шум — как будто работали машины. Пошептавшись, они решили выделить парламентаря, и Ридинг, в качестве такового, чувствуя при каждом шаге слабость под коленками, относительно храбро направился к нему.

Взялся за ручку двери — она открылась гостеприимно и доверчиво. Вошел — и оказался в довольно обширном зале, заставленном машинами. Что-то крутилось, мягко шипели ремни трансмиссий, пахло маслом и тем характерным запахом живых машин, который стоит в каждом машинном помещении. Увидел какие-то рукоятки, пучки натянутых, как струны, проводов, доски со вздрагивающими стрелками в дисках приборов и... забытый кем-то на кофине одной из машин бутерброд с ветчиной.

Быстрое, как мысль, движение, и зубы впились в розовое мясо. Свело челюсти, под ушами вздулись желваки, судороги — но зубы продолжали рвать дальше, горло раздувалось от проглатываемых без разжевывания огромных кусков.

— Первый раз вижу человека, так стремительно расправляющегося с пищей, — услышал Ридинг около себя жидкий тенорок. Обернулся и увидел человека в синей рабочей блузе...

— Немножко неприятно, конечно, — продолжал человек, провожая глазами исчезающие куски, — что мой бу-

терброд погиб. Но, я вижу, вы так голодны, что я даже готов предложить вам другой.

Ридинг проглотил последний кусок, с выпученными глазами проталкивая его в горло, и протянул руку. Потом вспомнил о своих двух приятелях и решил начать переговоры.

— Скажите, пожалуйста, что это за здание? Видите ли, меня ждут два товарища, они очень голодны — не могли бы вы накормить и их?

— Это Гайбукская гидростанция. Питает током Эверестскую астрономическую обсерваторию. А накормить вас сможем. Тащите своих приятелей, а я пойду к заведующему, сообщу ему о вас.

Через полчаса все трое сидели перед дымящейся миской с варевом необычайного, сверхъестественного вкуса... Человек в синей блузе, оказавшийся одним из монтеров, принес бутылку виски, и трое солдат почувствовали себя в раю.

И тут Ридинг и Бэнкс убедились, что их недавний приятель Томми Гульд, которого они знали еще до разгрома за тихоню и чистюлю, самый настоящий, заправский алкоголик. Не дураком выпить оказался и монтер. За первой бутылкой появилась другая. Гульд хлопал рюмку за рюмкой — и вдруг, когда головы Ридинга и Бэнкса, отяжеленные вином и едой, склонились на край стола, изо всей силы ударил ладонью по столу.

Зазвенели, подпрыгнув, тарелки, рюмки, ножи и вилки, и Томми Гульд заорал какую-то дикую песню, ворочая совершенно бессмысленными, налитыми кровью глазами. Затем его взгляд уперся в положенную на край стола гранату Ридинга и, нацелившись, он цапнул ее...

Размахивая ею, он пошел мимо прижавшихся к стене Ридинга, Бэнкса и монтера и, не прерывая дикой рулады, направился в зал. Те, очнувшись от первого испуга, бросились за ним, и началась погоня по всему залу. Качаясь из стороны в сторону, Гульд бежал от машины к машине, инстинктивно избегая опасных мест, нагибая голову под ремнями трансмиссий.

— Гульд, дружище, да остановись же!

— Гульд, миленький, погоди минутку, я тебе что-то скажу!

— Отдай гранату, черт свинячий, ведь ты всех нас взорвешь на воздух!

Остановились — остановился и Гульд, тронулись вперед — двинулся и Гульд. И так без конца — останавливались, двигались, снова останавливались, усовещая, лстя, угрожая. Наконец, взбешенный и бессмысленностью сцены и бесполезностью погони, Ридинг бросился вперед. Два-три прыжка и концы пальцев скользнули по спине Гульда. Тот кинулся в сторону, левая кисть коснулась бегущего ремня, — короткий крик — и втянутая между ремнем и маховиком рука потянула за собою тело... Ноги оторвались от земли, тело взметнулось кверху и, описывая в воздухе параболу, полетела граната по залу...

Когда заведующий станцией, вместе с рабочими, разбуженный взрывом, прибежал в зал, то по нему колыхались сизые полотна дыма. Четыре трупа, лохмотья трансмиссий, осколки распределительных досок, обрывки проводов, сорванные с постаментов динамо и делающую последний бессильный оборот, раненую насмерть, с искривленными и вырванными лопастями турбину — увидел заведующий.

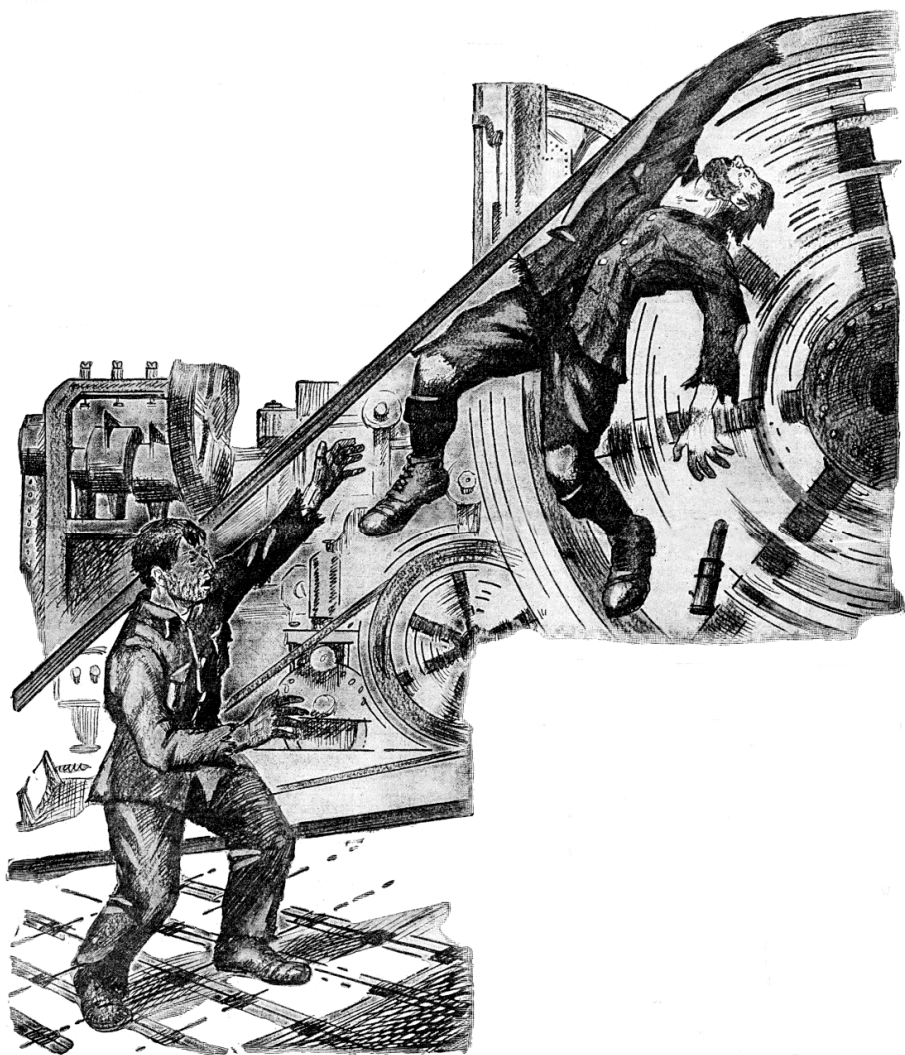
— Аккумуляторы... заряжены? — неповинуящимся хриплым голосом, не интересуясь пока ничем иным, спросил он своего помощника.

— Нет... Я хотел их заряжать завтра утром, — ответил тот.

И оба они, повинаясь какому-то могучему импульсу, посмотрели в окно, в котором, освещенная луной, серебрилась снежная вершина Эвереста.

IX. Встреча

— Ничего другого вам предложить не могу, Крамарек... бесполезно искать выхода. Идите к себе, ложитесь спать, если можете — и оставьте меня одного.



И Грохотов поплотнее завернулся в шубу. Холод пробирался за воротник, хватал за ноги, грызя концы пальцев... Голова кружилась от насыщенного углекислотой воздуха, в ушах стоял непрерывный, надоедливый, как полет комара, звон... и сквозь этот звон время от времени от стен доносилось легкое потрескивание — это расходились охваченные морозом швы стальных листов...

На коленях Грохотова лежала бумажная таблетка с надписью «Морфий». Крамарек ее не взял... на что надеялся человек?..

Час тому назад Хокуто, улыбаясь чему то далекому, нездешнему, взял такую же таблетку, и, пожав руку Грохотова, ушел в свою комнату.

А затем получил свою долю и Ганетти.

За ним — умирающий Либетраут.

Четыре таблетки, шесть человек — час тому назад...

Одна таблетка, три человека — сейчас...

...Ну что же, если Крамарек не хочет...

И рука, пошарив на коленях, нащупала белый четырехугольник...

...А Журбо?.. Нет — Журбо достаточно определенно отклонил предложение, локтем отодвинув таблетку. И даже не посмотрел на него, Грохотова, сидя все в той же неизменной за последние дни позе, положив локти на стол, опустив на них голову...

...Ну что же, если Крамарек не хочет...

— Давайте, м-сье Грохотов, — слышит он около себя придушенный голос, — я больше не могу, мне не хватает воздуха, я задыхаюсь!

— Такими вещами нельзя шутить, Крамарек, — строго говорит Грохотов. — Вы только что отказались, я хотел взять ее себе... Так нельзя шутить, Крамарек.

— Дайте, дайте... я больше не могу. Ради всего святого, ради ваших детей, всего того, что вы любите, дайте ее мне!..

И Грохотов протягивает таблетку — тот уходит.

Голова клонится на грудь, все тот же звон в ушах... все то же ужасное, неумолимое потрескивание.

— Пойдемте, скорее, скорее пойдемте! — слышит опять Грохотов голос над собой — и видит Журбо. Тот стоит в одном пиджаке и трясет его за рукав.

— Вы простудитесь, Журбо, — хочет сказать Грохотов, но тут же понимает всю нелепость приготовленной фразы... — Куда пойдемте, Журбо?..

— Туда, туда пойдемте, к экваториалу, посмотреть на него, на кратер, скорее, скорее — я умоляю вас!

Глаза Журбо сверкают, весь он — порыв, он не чувствует мороза, он — горит.

— Механизм экваториала бездействует, Журбо, — отвечает Грохотов. — Ведь тока нет, понимаете.

Потом вспоминает. И лениво ворочая языком, останавливаясь на каждом слове, говорит:

— Единственно, что возможно, это установить ручной передачей меридианный круг — вы увидите луну две, три минуты, не больше.

Журбо не дослушивает. Он бежит по коридору с развевающимися волосами, бормоча что-то. Идет за ним и Грохотов.

Луна близка к прорези купола — «не опоздали, не опоздали!» — шепчет Журбо.

И оба они, напрягая последние силы, вертят колесо передачи. Ползет объектив по прорези и останавливается — и на него находит серп луны.

— Последний привет... последний привет, — бормочет Журбо.

Он садится в кресло, передвигает окулярное кольцо.

Грохотов становится рядом и вынимает блокнот.

— Говорите, Журбо, — замечает он. — Я буду записывать.

— Да, да, Грохотов, — понимает Журбо, — последняя запись... люди найдут когда-нибудь... найдут, Грохотов...

Но он не может справиться с окуляром, — а луна уже светит краем в прорезь купола. Грохотов тихонько отодвигает его, вертит кольцо окуляра — и туманное серебристое пятно съезживается, собирается в резкие линии, точки, являя лик луны. Блестит ломаная линия терминатора, обоз-

начая границу света и тьмы, а рядом, из этой тьмы, как из бархата коробки, искрится миниатюрная алмазная брошка, уже не два, а три концентрических круга, три крохотных, блистающих круга...

Огромным усилием воли заставляет себя Грохотов оторваться от окуляра и говорит Журбо:

— Смотрите!

— Три круга, три круга! — почти кричит Журбо. Грохотов чувствует, что карандаш становится огромным и тяжелым, как бревно, ускользая из каменеющих пальцев... Как немеют ноги — и грузно опускается на пол кабинки слабеющее тело. В ушах стоит уже не звон, а шум, похожий на рев водопада.

— Три круга... они блестят... они пылают, Грохотов, — нараспев говорит Журбо. — О, как они пылают... вокруг них люди, толпы народа! Это праздник, Грохотов... какие счастливые, гордые лица, какое ликование!..

— Вы бредите, Журбо, — ворочая жерновом языка, говорит Грохотов, и голова его падает на грудь.

— Грохотов, Грохотов! — кричит Журбо. — Они тоже там... среди толпы... мои девочки, мои бедные девочки! Мари, Нинет, Лу... Они смеются, они кивают мне!..

Грохотов лежит на полу кабинки. На грудь ему наваливается что-то огромное и мягкое — это Журбо сполз со своего кресла. И над самым ухом он чувствует горячее дыхание, сквозь последние проблески сознания слышит:

— Здравствуй, Мари, здравствуй, Нинет, здравствуй, моя ласточка, моя маленькая Лу!..

СЛУЧАЙ НА УЛИЦЕ КАПУЦИНОВ

Рис. Г. Фитингофа



Джульфо глотал шпаги, ел горящую паклю, втыкал в грудь длинную булавку и с приятной улыбкой вытаскивал ее вон.

Затем приступил к главному номеру программы: попросил у монументально восседавшего в первом ряду местного воротилы по бакалейным и мучным делам шляпу и с той же приятной улыбкой выпустил в нее содержимое пяти обыкновенных куриных яиц.

Бакалейщик вздрогнул и потянулся вперед. Джульфо ласковым движением руки дал понять, что все обстоит как нельзя более благополучно, и положил шляпу на столик донышком вниз. Затем остановился напротив, сделал страшное лицо, и руки его задвигались по направлению к шляпе, как поршни паровой машины, — это должно было означать гипнотические пассы.

В шляпе что-то запищало тоненько и робко и, неуклюже переваливаясь через края, из нее выползли пять желтеньких крохотных цыплят.

Джульфо раскланялся, шляпа вернулась к своему владельцу, и здание театра вздрогнуло от аплодисментов.

— Эти фокусы, вернее — то выражение крайнего изумления, которое я прочел на лицах наших уважаемых сограждан, — говорил Глисс по возвращении из театра Клею, сидя с ним у камина, — напомнило мне одну довольно трагическую историю, свидетелем которой мне пришлось быть несколько лет тому назад. Если позволите, я расскажу ее вам.

Клей выразил согласие, и Глисс, поправив щипцами пылавшие дрова, уселся поглубже в кресло.

— Мне придется начать, — сказал он, — с одного, не имеющего прямого отношения к рассказу инцидента. В нем

мой герой, товарищ по политехникуму Эллиот Сандерс, вылился целиком со всей своей непокорной натурой.

— Назовите мне, студент Сандерс, — сказал на экзамене теоретической механики профессор, полненький старикашка с круглой, как бильярдный шар, головой, за что его и прозвали «мячиком», — ту кривую линию, по которой тяжелая материальная точка, не имеющая начальной скорости, быстрее всего скатится по дуге от верхней до нижней точки ее.

Сандерс знал предмет великолепно, — в том не могло быть ни малейшего сомнения. Он взял мел и стал вычерчивать кривую так же уверенно и четко, как и все, что он делал.

— Стойте! — закричал профессор. — Нужно слушать, что вам говорят!.. Я не вычерчивать вас просил, а только называть эту кривую...

Это было сказано грубо, до того грубо, что мы, все присутствующие на экзамене студенты, вздрогнули, как от разряда лейденской банки. И кому это было сказано! Сандерсу, кумиру факультета, несомненной будущей знаменитости, великолепному товарищу!

Как на положенном в огонь стальном лезвии ходят цветные пятна, так заходили белые и красные пятна на лице Сандерса. Он положил мел и повернулся к профессору, Пальцы его потянулись к рыжей никудышной бородачке, которую он постоянно теребил, близорукие глаза сощурились под колесами очков.

Мы хорошо знали Сандерса, и было несомненно, что он не выдержит и ответит дерзостью. Над аудиторией повисло тяжелое молчание. «Мячик», видимо, этого не учел, — он продолжал насмешливо смотреть на студента.

— Ну-с, придется вытягивать ее название из вас по складам... попробуем... Бра...

— Брахистохрона, — шепотом подсказал один из студентов Сандерсу.

Это было совершенно излишне, и Сандерс недовольно повел плечами. Эту брахистохрону он знал так же хорошо,

как и сам профессор, не отвечал же по причине своего упрямства и самолюбия.

Профессор иронически рассмеялся.

— Студенту Сандерсу одного слога мало... Дадим ему второй — брахи...

Сандерс моментально преобразился. Лицо его расплылось в широкую улыбку, он оправил сюртучок и ласково, таким ангелочком посмотрел на профессора, на его круглую, что от лба к затылку, так и от виска к виску, голову.

— Вспомнил, профессор... Брахи... цефалия¹.

У профессора заходили на лице те же белые и красные пятна, как у Сандерса перед тем.

Он крикнул, раскрыл журнал, захлопнул его, дернул себя за воротник.

— Виноват, профессор... брахистохрона, — медовым голосом добавил Сандерс.

Пришлось поставить «удовлетворительно», и Сандерс, вежливо поклонившись, вышел из аудитории, огромный и величественный.

...Я очень любил его. Мальчишкой поступил я в политехникум. Мне было тогда семнадцать лет, т. е. ровно столько, сколько нужно человеку, чтобы он мог уже воображать себя победителем жизни.

Со скептической улыбкой пренебрежения ко всему, созданному человеческими руками, сел я за курс физики, не сомневаясь, что тут же, не выходя из комнаты, внесу ясность и определенность во все неясное и гипотетичное, растолкаю локтями всех этих Тиндалей, Марриотов, Гальвани, прочих и прочих и доскажу уверенно и авторитетно все то, что так робко было начато ими. Но, как и следовало ожидать, Тиндали и Марриоты даже не пошелохнулись, а я плотно засел на первых же страницах, напрягая все мои мыслительные способности и не понимая почти ничего.

Тут-то мне и пришел на помощь Сандерс. Выругал ме-

¹ Брахицефалия — антропологический термин, означающий круглоголовость.

ня за мое самомнение, не жалея красок для своей блестящей и ядовитой иронии, и просто, захватывающе-интересно и несомненно талантливо растолковал мне то, чего я не понимал в толстых томах курса физики. Позвал меня к себе на квартиру, и я был поражен устроенной им лабораторией, всем этим ассортиментом реторт, термостатов, выключателей, регуляторов и прочих блестящих, многообразных и таинственных приборов, среди которых он чувствовал себя хозяином, а я робким и неуклюжим и смешным до глупости мальчишкой.

Когда я познакомился с ним поближе, он признался мне, что особенно увлекается кинематографией и мечтает создать аппарат, демонстрирующий не только движение в его натуральных красках, но и могущий записывать и производить звуки, — тот кино-граммофон, о котором мечтает и современная техника.

Как-то Сандерс пригласил меня и еще несколько товарищей в свою лабораторию и продемонстрировал нам фильм — самого себя, облаченного в яркий халат и произносящего речь. Халат неприятно бил в глаза прыгающими пятнами своей пестрой расцветки, голос имел металлический оттенок, и звуки то отставали от движений рта, то немного опережали их. Все же получалось сравнительно недурно, и некий Лакс, тупой и самовлюбленный болван, покровительственно похлопал Сандерса по плечу. Тот рассвирепел, — видимо, ожидал большего как от опыта, так и от нас, зрителей, и ударом кулака опрокинул аппарат на пол.

После этого он нас на свои опыты уже не приглашал. Кончил он политехникум первым из нашего приема. Кончил и уехал куда-то на юг поправлять свое распатанное усиленными занятиями здоровье.

Прошло пять лет, и вот однажды, возвратясь с урока математики, которую я преподавал в одном из местных училищ, я увидел на столе письмо. Взглянул на энергичный, с характерными нажимами почерк на конверте и сразу же узнал автора письма. Вот что Сандерс писал мне:

«Дружище Глисс!

Если ты свободен в 9 часов вечера в пятницу, садись в подземку и кати на Овальную площадь, дом № 6, — это место моего жительства. Буду очень рад видеть тебя. Соберется еще кое-кто.

Твой Сандерс».

Письмо, как видите, довольно-таки лаконичное, как будто мы виделись на днях.

Овальная площадь помещалась на самом краю города, где высокие трех- и четырехэтажные дома переходят в загородные виллы, где чахлые городские сады со скупо посаженными деревьями уступают место загородным сосновым и кедровым рощам. Она же являлась и конечным пунктом линии подземки, и до нее было от моего дома не меньше, чем час езды.

Поэтому ровно в 8 часов я сел в вагон и отправился в путь. Через час подземка выплюнула меня вместе с несколькими десятками мне подобных из своего беспокойного чрева, и <вскоре> я звонил у двери двухэтажного дома-особняка с медной дощечкой на ней:

ЭЛЛИОТ
САНДЕРС
д-р механики

Дверь отворилась, что-то огромное надвинулось на меня, и доктор механики заключил меня в свои объятия.

Чуть не задушив, повлек меня в гостиную-холл, где уже сидело несколько человек.

— Мод, моя жена, артистка комической оперы, Глисс, мой товарищ по политехникуму...

Мод, иссиня-черная, грациозная, с кожей цвета слоновой кости особа, выразила на своем подвижном лице то, что полагается выражать в подобных случаях, — приветливость, граничащую с восхищением.

А Сандерс тянул меня дальше.

— Лакс — твой и мой однокашник. Как видишь, еще больше надулся, — занимает солидное место в здешнем банке.

Лакс протянул мне пухлую руку и без всякого выражения уставился на меня свинными глазками; да, он остался все тем же неповоротливым, занятым только собственной персоной животным.

— Профессор, разрешите вам представить вашего бывшего ученика Глисса! Глисс, можешь не робеть, — профессор теперь тебя не съест.

И я очутился перед моим давнишним знакомым «мячиком», некогда проглотившим вместо брахистохроны ядовитую брахицефалию.

— Маэстро Чиллепс — концертмейстер комической оперы. Глисс — мой товарищ и т. д.

Мне протянуло костлявую лапу что-то лохматое, большеглазое и достаточно грязное, — видимо, маэстро употреблял канифоль чаще, чем мыло.

— Ну, а теперь садись.

И я утонул в мягком, великолепной кожи, кресле. Мой друг определенно преуспел в жизни, об этом свидетельствовала вся элегантная обстановка холла, начиная со свинной кожи моего кресла и кончая акварелью над роялем, в которой я узнал подлинного Козенса.

— Я так давно не видел тебя, Сандерс, что совершенно не представляю размеров твоих успехов в технике. Как твои опыты с говорящим кино?

Сандерс усмехнулся.

— Они невелики, Глисс. Если бы они были больше, ты узнал бы об этом через печать. А так — работаю. Что касается говорящего кино, то я забыл и думать о нем. Эта задача еще не по плечу современным техническим средствам.

Подали чай. Лакс заметно оживился и с аппетитом уничтожал одно печенье за другим. Маэстро Чиллепс сыпал крошки на сюртук и скатерть, прихлебывая чай.

Понемногу завязался напоминающий пламя стоящей на ветру свечи разговор, то вспыхивающий, то почти прекращающийся.

Маэстро заговорил о последней опере Пуччини, обращаясь почему-то к «мячику». Тот напряженно ворочал своими белесыми, навывкате, глазами, как человек, переживающий припадок удушья.

Лакс стал вспоминать годы нашего студенчества. Сандерс перебил его тягучую, как жеваная резина, речь и блестяще рассказал несколько эпизодов из нашей ученической жизни.

Так мы сидели за круглым столом, поставленным в углу холла, между маршем лестницы и ее площадкой. Огромная лампа грибом спускалась с потолка, освещая только стол, все остальное тонуло в тени. Напротив площадки, на другом конце холла, находилась большая двухстворчатая дверь в кабинет хозяина, как я убедился потом, справа — дверь в переднюю, слева — в столовую. У правой стены холла, между нашим столом и дверью в переднюю, стоял большой кабинетный рояль.

За стеной холла, в столовой, густо, башенным боем часы пробили десять.

— Мод, сыграй или спой нам что-нибудь! — попросил хозяин. — Маэстро Чиллепс тебе проаккомпанирует, — и Сандерс, подойдя к роялю, стал перебирать ноты.

— Сыграй для начала хоть песню Сольвейг Грига, — сказал он.

...И вслед за тем грохнулся на пол...

Это было до того неожиданно, что мы все застыли на своих местах. Только что разговаривающий, оживленный, совершенно здоровый мужчина, как подкошенный, упал у рояля, раскинув широко руки, и только спустя несколько секунд мы бросились к нему... Подняли и, толкаясь, мешая друг другу, стали искать чего-нибудь, на что можно было бы положить тело.

— В кабинет, в кабинет! — прерывающимся от волнения шепотом приказала Мод.

Мы пронесли Сандерса в кабинет и там положили его на диван. Он слабо дышал и зрачков его полуоткрытых глаз не было видно, сквозь длинные ресницы виднелись одни белки. Зубы были судорожно сжаты.



— Это скоро пройдет, — сказала Мод. — Это сердечный припадок, нужно положить лед на сердце и скоро все пройдет.

Пришел слуга, дряхлый мафусаил с тазом льда. Я растегнул крахмальную манишку больного и Мод положила на грудь завернутый в полотенце лед.

Сандерс пришел в себя, тяжело вздохнул и беспомощно улыбнулся.

— Простите, дорогие, — сказал он, — что я угостил вас этим припадком. Все это чрезвычайно глупо и мне просто стыдно. И не думайте уходить! — продолжал он, смотря на наши переминающиеся с ноги на ногу фигуры, — сейчас Мод вам сыграет, я немного полежу и без ужина вас не отпущу ни в коем случае.

— Вряд ли тебе наше присутствие после такого припад-ка будет приятно, дружище, — сказал я. — Уже поздно, четверть одиннадцатого, и нам пора к своим пенатам.

Сандерс запротестовал, а вместе с ним и Мод.

Мы оставили больного в кабинете, потушили свет и прошли в холл. Дверь кабинета Мод закрыла, предварительно опустив тяжелую портьеру.

— Пускай он немного подремлет, — вы увидите, через полчаса он будет совершенно здоров.

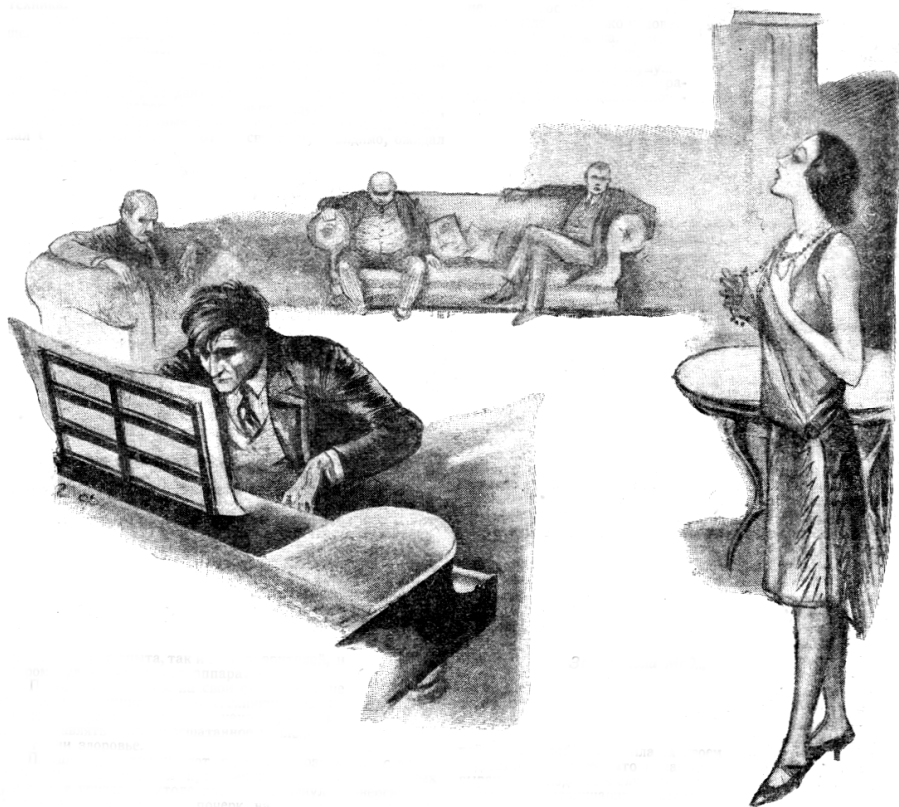
Я не люблю концертов. Эти бесконечные ряды нарочито разряженных людей, холодные стены зала, напряженно-развязные, за редким исключением, исполнители не могут вызвать во мне того настроения, какое дает обстановка гостиной, уютные кресла, мягкий свет лампы. А Мод сыграла песню Сольвейг Грига, самую любимую мною вещь, так, что во мне до сих пор живо то огромное впечатление, которое она оставила во всех нас. Даже сонный Лакс внешне как-то облагородился. Брахистохрона сидел и, склонив голову набок, млел от удовольствия. А Чиллепсу я простил и его грязные руки и сомнительное белье, — после Мод он неподражаемо сыграл ноктюрн Шопена, блестяще, с исключительным мастерством. Затем пела Мод приятным небольшим сопрано, снова играл Чиллепс, и мы сидели в ощущении того глубокого душевного, если можно так выразиться, уюта, который создает хорошая музыка.

Во время исполнения Чиллепсом одной из вещей Мод встала и прошла в столовую.

— Пойду — посмотрю на мужа, — шепнула она мне на ходу.

Чиллепс закончил свою вещь, и дверь кабинета распахнулась. Портьера отодвинулась и показался Сандерс. Он тяжело дышал и был очень бледен.

— Простите, дорогие мои, — сказал он, прикладывая руку к сердцу. — Я сегодня что-то совсем расклеился и не смогу выйти к ужину. Сейчас Мод вознаградит вас за ваше долготерпение ужином, а я уж лягу. Ей-богу, совсем плохо, даже стоять не могу...



— Ну, ложись скорей, дорогой! — сказала стоявшая сзади Сандерса Мод.

Сандерс смущенно улынулся, кивнул головой и задернул портьеру. Через некоторое время из столовой, видимо, сообщаемой через спальню с кабинетом, вошла Мод, сильно расстроенная.

— Такого сильного припадка уже давно не было, — растерянно улыбаясь, сказала она. — Это меня очень беспокоит. Доктор недавно наговорил ужасов об его сердце.

В столовой загремели ножами и так же гулко часы пробили башенный удар; я взглянул на свой брегет — было половина двенадцатого.

— Я вас совсем заморила голодом. Ужинать, ужинать! — сгоняя с лица волнение, оживилась Мод.

И, взяв себя в руки, угостила нас великолепным ужином. Правда, его великолепие полностью ощутил только Лакс да разве Чиллепс. Оба они отдали дань и замечательному лангусту, и рябчикам, и всему тому, что придумала фантазия Мод. Брахистохрона ел мало, видимо, удрученный всем происшедшим. Нехорошо было на душе и у меня.

В молчании закончился ужин.

А после него, извинившись перед хозяйкой, мы сейчас же встали.

— Простите уж нас с Сандерсом, — сказала Мод, крепко пожимая мне руку на прощание и виновато улыбаясь.

— Я завтра утром позвоню — узнать об его здоровье, — сказал я, отвечая на пожатие.

ГЛАВА 2

— Свидетель, а вы знаете, чем рискуете, давая ложные показания? — говорил мне на другой день полицейский комиссар, смотря на меня через стол подслеповатыми глазами.

— Я не мальчик, г-н комиссар, и знаю, что говорю, — отвечал я, — а кроме того, не страдаю галлюцинациями.

— Садитесь! Гражданин Гро, где были вы между девятью и двенадцатью часами вечера вчера, 28-го июня?..

— У моего прежнего ученика по политехникуму, доктора механики Эллиота Сандерса.

— Вам знакома эта трость?

— Да...

— Кому она принадлежит?

— Сандерсу. На ней инициалы «Э. С». Она из баккаута, я ее хорошо знаю. Сандерс купил ее с месяц тому назад.

— Этот бумажник?

— Его, Сандерса.

— Садитесь! Гражданин Чиллепс, вы тоже были вместе с Глиссом и Гро у Сандерса?

— Да.

— Вы целиком подтверждаете показания гражданина Глисса о припадке Сандерса во всех подробностях?

— Да.

— Хорошо, садитесь! Служитель, введите арестованного.

И перед нашими изумленными глазами предстал Сандерс... Он был, как и вчера во время припадка, страшно бледен. Он кивнул нам головой и мы прочли в его взоре выражение безысходной тоски.

— Д-р Эллиот Сандерс, — спросил комиссар, — чем вы объясните, что вчера, около двенадцати часов ночи, полицейский служитель подобрал на Улице капуцинов вот этот бумажник и эту трость, ведь они ваши, не правда ли?

— Не знаю... — глухо ответил Сандерс. — Они действительно мои... и я попрошу у вас разрешения сесть. Я совсем болен, у меня вчера был припадок и я не оправился от него.

— Хорошо, садитесь. Дальше... Чем вы объясните, что рядом с этим бумажником и палкой лежал труп только что убитого человека? Убитого в а м и, гражданин Сандерс!

Вот тут-то и вступило в свои права то изумление, о котором мне напомнил Джульфо и его фокусы. И, как это принято говорить в рассказах, разразись над нашими голова-

ми гром с сокрушительной молнией, это изумило бы нас несравненно менее, чем слова, сказанные комиссаром.

Помню, мы все вскочили, стали кричать, замахали руками... Особенно неистовствовал Чиллепс, — он подбежал к комиссару и, стуча кулаком по столу, весь красный от натути кричал тому в физиономию, выпучив глаза:

— Ложь, ложь, ложь!! Сандерс все время был дома, дома!!!

— Не мучьте больного человека, — кричал я, — вы не имеете права издеваться! Это произвол, мы будем жаловаться.

Когда все немного успокоилось, комиссар крикнул в дверь:

— Брудис!

Вошел полицейский так быстро, непосредственно за зовом, что не было никакого сомнения в том, что он стоял у двери и прислушивался ко всему, происходящему в комнате. Он смущенно подошел к столу комиссара и остановился, вытянув руки по швам.

— Я ничего не понимаю, Брудис, — сказал комиссар, — эти граждане в один голос утверждают, что гражданин Сандерс провел время с девяти до двенадцати часов у себя дома и никуда не отлучался... Одним словом, вы настаиваете на том, что вчера на улице Капуцинов, т. е. в стороне города, противоположной Овальной площади, где живет д-р Сандерс, около двенадцати часов ночи вы видели его, Сандерса, склоненного над убитым человеком и убежавшего при вашем приближении?

Брудис пожал плечами.

— Было темно, г-н комиссар... Вы ведь знаете, Улица капуцинов очень слабо освещена... Я мог и ошибиться... Одно могу сказать, что убийца был такого же роста, как и д-р Сандерс.

И, помолчав, добавил:

— Тут даже дело не во мне и не в моей возможной ошибке... Ведь бумажник и трость все-таки принадлежат д-ру Сандерсу, а также и визитная карточка, которая была в бумажнике...

— Значит, вы не настаиваете, Брудис, что человек, убивший неизвестного ударом палки по виску, был именно д-р Сандерс?

— Не знаю, г-н комиссар, не знаю... Повторяю, я мог и ошибиться... но бумажник...

Тут Сандерс встал.

— Одну минуту внимания, — твердым голосом сказал Сандерс, — я клянусь, клянусь своим честным именем, своими друзьями, которые сидят тут, что бумажник и трость были украдены у меня три дня тому назад...

.

«Так вот для чего меня вызвали сегодня утром в полицейский участок, — думал я, возвращаясь к себе домой. — Какое счастье, что в этот вечер собралось у Сандерса несколько человек, которые могли засвидетельствовать его непричастность к убийству!..»

На уроки я опоздал. До обеда оставалось два часа и, войдя в свою комнату, я решил предупредить Мод по телефону, что Сандерс освобожден и сейчас возвратится домой, а заодно и попросить разрешения приехать: в таких случаях семьи, перенесшие потрясения, требуют уединения или друзей.

На мой звонок подошла сама Мод.

— Глисс, — узнала она меня по голосу, — расскажите, в чем дело? Сейчас звонил Эллиот и сказал, что возвращается домой... Я ничего не понимаю с момента ареста...

И она рассказала мне, как сегодня ночью, между двумя и тремя часами, в квартиру вломились полицейские и, арестовав Сандерса, ничего не объясняя, увезли его с собой.

Я в свою очередь передал ей обо всем происшедшем в участке.

— Какой ужас! — услышал я в трубке возглас бесконечного удивления... — Эллиот и убийство!.. Эллиот, почти умирающий от сердечного припадка, и убийство на другом кон-

це города!.. Это какое-то наваждение, Глисс! Вот, вот, — радостно заговорила трубка, — Эллиот идет через площадь! Простите, дорогой, я должна его встретить.

А через час Мод позвонила опять.

— Простите, дорогой Глисс, — сказала она. — Я не обратила в волнении внимания на ваше предложение приехать... Я должна извиниться перед вами, Сандерс лежит почти без памяти. Я боюсь, что в таком состоянии он не сможет оценить вашего участия. Когда ему станет лучше, я позвоню вам, и, конечно, мы будем страшно рады увидеть вас.

В вечерней газете я прочел заметку, посвященную случаю с Сандерсом.

Полицейский Брудис, совершая свой ночной обход, обратил внимание на крики, доносившиеся с улицы Капуцинов. Он бросился туда и увидел на земле человека и наклонившегося над лежащим — другого. Брудис вынул револьвер и кинулся вперед. Стоявший человек заметил его и, убегая скрылся за углом, в Бумажном переулке. Преследование было совершенно бесполезно, — переулок тонул в темноте. Вернувшись к лежащему, Брудис убедился, что он мертв, — правая височная кость была раздроблена и рядом лежало орудие убийства — тяжелая баккаутная трость с золотой монограммой «Э. С». Как показал дальнейший осмотр трупа в морге, удар был нанесен сзади, видимо, по убегающему.

Рядом с трупом Брудис обнаружил и раскрытый бумажник. Порывшись в нем, он нашел несколько ассигнаций, уже использованный, надорванный билет на спектакль комической оперы и визитную карточку с именем д-ра Эллиота Сандерса. Убитого доставили в морг, и комиссар отдал распоряжение об аресте Сандерса.

Далее заметка сообщала, что арестованный потребовал допроса бывших у него вчера вечером друзей, и подробности этого допроса. Лакса допросить не удалось, потому что он ранним утром выехал из города по делам банка. Убитый был опознан. Он оказался неким Альфонсом Леони, опустившимся не то итальянцем, не то испанцем, хорошо известным в районе, прилегающем к улице Капуцинов, за-

всегдатаем всех местных кабаков и пивных, человеком с довольно-таки дрянным прошлым.

В конце заметки сообщалось, что показания свидетелей были настолько исчерпывающи и настолько по своей солидности не возбуждали сомнений, что следствие против д-ра Сандерса прекращено и он освобожден из-под ареста.

Вечером звонка так и не было.

Прошло несколько дней. И вот однажды, возвращаясь с уроков и подойдя к двери своей комнаты, я услышал за нею тихий плач.

Вошел — и увидел Мод. Она сидела у письменного стола, положив лицо в ладони, и плечи ее вздрагивали.

— Мод, что с вами? — спросил я.

Не оборачиваясь и не отрывая рук от лица, она ответила:

— О, Глисс, помогите! Хотя чем-нибудь, хоть советом, научите меня, я выбилась из сил! — и, глотая слезы, рассказала, что с того момента, как Сандерс вернулся из участка, с ним творится что-то ужасное. Он мечется по дому, не находя себе места, отказывается от еды, временами переходя в состояние сильнейшей апатии, не желая никого видеть...

Она приехала потому, что, может быть, мое присутствие сможет хоть как-нибудь помочь положению.

И мы поехали.

Нам открыл старый мафусаил, на цыпочках подбежавший к двери и так же на цыпочках засуетившийся вокруг нас, снимая пальто.

— Что делает д-р Сандерс? — спросила Мод.

— Лежит на диване в кабинете, — ответил шепотом слуга.

— Эллиот, можно войти? — спросила Мод, стоя у двери кабинета.

— Да, — услышал я тихий, заглушенный портьерой голос.

Мы вошли, и я увидел обращенное на меня желтое лицо с застывшим на нем выражением не то ужаса, не то крайнего отчаяния. Сандерс несколько дней не брился, и щети-

на волос, подернувшая щеки темным налетом, дополняла гнетущую картину человеческого горя.

— Слушай, Глисс, — сказал он, привставая с дивана, — что бы ты сделал, если бы тебе пришлось выбирать между потерей самого любимого тобою в мире, ради чего ты всю жизнь работал, и между потерей твоего доброго имени, — того, что принято называть честью?

— Все зависит от того,... — нерешительно начал я.

— Да, да!.. — почти закричал Сандерс, хватая меня за рукав, — я так и знал, что ни ты, что никто не сможет дать прямого, ясного ответа! А он мне нужен, нужен, как воздух, хлеб голодному!.. — и, близко наклонившись ко мне, он почти в самое ухо шепотом кинул три ошеломляющих слова:

— Леони убил я...

Я посмотрел на Мод. И во взгляде ее бесконечно печальных глаз нашел тот ответ, который еще усилил мое изумление: Сандерс не бредил, не сходил с ума, он сказал правду.

— Слушай, Глисс, — я расскажу все по порядку, и ты суди меня, как подсказывает тебе твоя совесть. И как ты скажешь, я так и поступлю... Ты ведь знаешь мою проклятую любовь ко всякого рода мистификациям, — начал он, пересекая взад и вперед по диагонали мягкий, занимающий всю площадь кабинета ковер. — Все было рассчитано, обдуманно до мельчайших подробностей, и глупый случай, которого я никак не мог принять во внимание, закончил катастрофой всю мою хитроумную постройку... Слушай, Глисс, говорящее кино существует. А что оно действительно создает иллюзию природы — этому служат доказательством ваши свидетельские показания. Когда я раздвинул портьеру и сказал, что не смогу выйти к ужину и лягу отдохнуть, так это был не я, Глисс. Мод стояла на площадке лестницы холла, над столом, за которым вы сидели, и пропустила несколько метров заснятого раньше говорящего фильма, спроектировав его на экран за дверью кабинета, дверь же была распахнута и портьера раздернута часовым механизмом.

Вышла же она на площадку незаметно для вас, через винтовую лестницу в спальне, рядом с кабинетом...

А я в это время выходил из вагона подземки на другом конце города, направляясь к Дубовой аллее, к дому общества инженеров-политехников, чтобы там прочесть свой доклад о телестереоскопии... Я внутренне смеялся, представляя ваши изумленные лица при чтении этого доклада, всю ту кутерьму, которая подымется вами и которая послужит блестящим доказательством безукоризненности моего изобретения. Мне было до того весело, что я поймал себя на том, что хохочу, идя по пустынной улице, на которой не было ни одной души, — до того весело, что я не заметил, как свернул в сторону, что иду по улице Капуцинов, находящейся в стороне от прямого пути.

И вдруг передо мной выросла фигура здоровенного парня ростом чуть ли не выше меня.

— Веселый джентльмен, — голосом, от которого наверное лопнул бы мой говорящий фильм, сирым и разбитым, как отсыревшая гитара, дыша на меня букетом алкогольных специй, сказал верзила, — не найдется ли у вас немного радости и для меня в виде соответствующих денежных знаков.

Я навесил палку на руку и весьма охотно полез в боковой карман сюртука за бумажником, решив дать и ему немного радости. Вынув бумажник, я при слабом свете отдаленного фонаря стал рыться в нем и вдруг увидел у самого моего горла пару огромнейших лап, затем почувствовал, что мне не хватает воздуха, — видимо, бродяга был специалистом своего дела.

Помню борьбу, помню, что мне удалось освободиться из цепких пальцев, помню, как я крикнул, выталкивая воздух из полузадушенного горла, как я отбросил бродягу, сам не подозревая о своей недюжинной физической силе.

— Ну и черт с тобой, если ты такой несговорчивый, — сказал бродяга, видимо, собираясь повернуться и отправиться дальше за новыми подвигами. И тут-то я совершил то, чему оправдания не найду никогда. Я перебросил палку в правую руку, взяв ее за конец, и кинулся на бродягу, он



побежал от меня, испуская дикие вопли. Я гнался за человеком, как зверь, Глисс, с жаждой убить его, с палкой в одной руке, с бумажником в другой. Мы пробежали почти всю улицу, я настиг его и сзади, сзади, Глисс, с размаху с остервенением ударил его палкой по виску. Он рухнул, опрокинувшись назад, на затылок. Увидев несущегося вперед с револьвером полицейского, я бросился бежать. Инстинктивно кинулся вбок, в темный переулок и, путаясь в мешанине каких-то тупиков, пустырей и переулков, выбрался к остановке подземки. Вид у меня был, наверное, достаточно дикий, — немногие поздние пассажиры смотрели на меня с изумлением. Мод все знает, Глисс, — до самого момента ареста мы сидели, прижавшись друг к другу, оцепенев от обрушившегося на нас несчастья...

— А твой припадок, Сандерс? Значит, он тоже был инсценирован? — спросил я.

— Все, с начала до конца, — воскликнул он, останавливаясь передо мной и выгибая пальцы сплетенных рук так, что, казалось, лопнут сухожилия, — было ложью!.. И припадок, прорепетированный мной несколько раз, и музыка Мод, и ее беспокойство, — все, все с начала до конца! Все было подстроено, обдуманно до мелочей, включая сюда и спешную постройку винтовой лестницы из спальни на второй этаж. Если бы все кончилось благополучно, все это получило бы свое оправдание, создало бы картину блестящей шутки. А сейчас... — и с тихим стоном Сандерс опустился на диван.

— Десять лет исканий, — продолжал он, — десять лет упорного труда, бесконечных опытов, кропотливой работы над мельчайшими деталями моего аппарата, переходы от отчаяния к надежде и снова к отчаянию и, наконец, полная, безусловная победа... а затем несколько минут этого ужаса, который уничтожил, растоптал и весь мой труд и мою победу...

— Но, Сандерс, — сказал я, — ведь дело, по-моему, обстоит вовсе уже не так мрачно. Ведь ты убил, защищаясь... Иди, сознайся, — никто не сможет обвинить тебя, и твое изо-

бретение еще больше заставит всех изумляться... Ведь более выгодной обстановки для его успеха и не придумать!..

— А клятва, торжественно данная мною в присутствии вас всех, там, в участке, в том, что бумажник и палка у меня были украдены? А бегство от полицейского? А удар сзади, зверский, подлый удар, который никак нельзя квалифицировать как самозащиту? Нет, Глисс, я плохо разбираюсь в этих делах, но знаю, что оправдание тут исключено...

— Нет, нет, ни за что, — сказала Мод, — он не вынесет этого, он погибнет в тюрьме, нет, Глисс, это невозможно!..

.

Глисс замолчал... Последние вспышки углей судорожным светом метались по полу и стенам, как зарницы отдаленной грозы.

— Ну, и что же, — спросил Клей, — на этом и кончается ваша история?

— Если хотите, — да, Клей. Это был мой последний разговор с Сандерсом и его женой. Вскоре они уехали из города, и у меня нет сведений о них.

Клей встал... Вынув из кармана перчатки, он медленно натянул их на пальцы. Подошел к углу, где стояла его палка, взял ее, отыскал на столе шляпу. Затем церемонно поклонился Глиссу.

— Будьте здоровы, Глисс, — сказал он, смотря на него с жестокой усмешкой, — что же касается душевной борьбы доктора Сандерса, то я принужден прекратить ее...

— Что вы хотите сказать, Клей? — вскочил Глисс со своего кресла, чувствуя, что на него надвигается что-то громадное и... страшное.

— Ничего особенного, Глисс, — медленно проговорил Клей, — только то, что считаю необходимым избавить д-ра Сандерса от его душевной борьбы и вернуть миру его изо-

бретение. Как это сделать — вопрос деталей. Будьте здоровы, Глисс!..

ГЛАВА 3

— Доклад был слабоват... Материал, безусловно, есть, но докладчик старательно разбавил его водичкой...

— Да, это не то, что Сандерс... Помнишь его доклады?.. Каждое слово насыщено содержанием, мысль бьет, как исландский гейзер... А его парадоксы? Сравнения, блестящие, как кирасир, и меткие, как судьба!

Глисс вздрогнул и обернулся. Двое беседующих, мужчины средних лет, медленно зашли сзади него. Они уже спустились до половины марша и до выхода оставалось несколько ступеней.

— Я ума не приложу, чем объяснить ту перемену, которая произошла с ним... Он весь как-то сразу вышел в расход... Остался лишь намек какой-то на прежнее...

И говоривший, пройдя мимо отступившего в сторону Глисса, взялся за ручку выходной двери.

Глисс решил.

— Простите, — сказал он, дотрагиваясь до рукава говорившего, — вы упомянули фамилию Сандерса. У меня был приятель, доктор механики Сандерс, — я давно его ищу...

— Он самый и есть... Я бы сказал — бывший доктор механики, а сейчас — так... сплошное недоразумение...

— Может быть, вы объясните подробнее, а заодно скажете, где я могу его найти?

— Да очень просто, — здесь... Я его видел на докладе.

Глисс беспомощно оглянулся кругом, и взгляд его уперся в медленно спускающуюся с лестницы громадную, неимоверно худую фигуру. Она шла прямо на него, и у Глисса голова нагнулась сама собой и шляпа очутилась в руке...

— Здравствуй, Сандерс! — неуверенно сказал он. Сандерс равнодушно посмотрел на него, и Глисс поразился той перемене, которую претерпело его некогда прекрасное

лицо. Глаза глубоко ушли в орбиты, нос заострился и, что особенно поразило Глисса, — пышные когда-то волосы влажно, как у чахоточного больного, прилипли к вискам.

— Здравствуй, Глисс, — ответил Сандерс со слабым намеком оживления в голосе.

— Вот мы и встретились! — неуверенно подобрал Глисс шаблонную фразу.

— Да, и несколько неожиданно для тебя, — усмехнулся Сандерс. — Ну, что же, пройдемся, поболтаем.

Первое время шли молча. Сандерс не обнаруживал желания начать разговор первый. Глисс же чувствовал, что общими фразами он продолжаться не может... «Спрошу его про Мод, а там видно будет», — решил он.

— Я помогу твоему интервью, — с той же усмешкой заговорил, наконец, Сандерс, — я вижу — ты мучаешься. Начнем с Мод. Сенсация номер первый: я разошелся с ней... Разошлись мы несколько недель спустя после той глупой истории... Видишь ли, Глисс, несчастье не всегда соединяет людей... В громадном количестве случаев оно развязывает самые крепкие узы, тушит самую пылкую любовь. Пламя любви прекрасно только тогда, когда на него не льют воду... Сенсация номер второй, — продолжал, помолчав, Сандерс, — я бросил мою кино-механику раз и навсегда. Почему — объяснять слишком длинно. А, впрочем, должно быть, по той же причине, по которой я в детстве однажды прекратил изготовление фейерверка, устроив небольшой, но веселенький пожар. Сенсация номер третий, — внезапно останавливаясь и оборачиваясь к Глиссу, проговорил Сандерс, — я имел удовольствие, правда, пока заочно, познакомиться с твоим приятелем Клеем.

— Он не мой приятель! — отступая и выбрасывая вперед руки, как бы защищаясь, воскликнул Глисс.

— Вот это лучше всего! — улыбнулся Сандерс. — Совсем по-ребячьи... «он не мой приятель...» Так значит, ты имеешь обыкновение рассказывать о тайнах твоих друзей первым встречным?

Сандерс положил обе руки на плечи Глисса и, медленно качая головой, смотрел ему прямо в глаза...

Случайные прохожие с удивлением оглядывались на этих двух людей, застывших в необычной для улицы позе. Стоявший на перекрестке полицейский уже сделал было два шага по направлению к ним, — ведь всего можно ожидать от неожиданно остановившихся прохожих, особенно если один из них так пристально и долго смотрит на другого.

Но руки Сандерса соскользнули с плеч Глисса, он вздохнул и полез в карман за часами.

— Уже десять, — сказал он. — Мне пора домой. Ты где живешь?

— Я остановился в гостинице «Прима».

— Ну, значит, нам с тобой по дороге... Я провожу тебя до угла Березовой аллеи... Так вот, видишь ли, Глисс, я в конце концов не сержусь на тебя... Видно, от ответа не уйти... и весь вопрос в том, как бы лучше ответить... А это я сумею... Неделю тому назад, — продолжал немного спустя Сандерс, — я получил письмо, подписанное твоим... знакомым Клеем. Он в категорической форме требует опубликования моего изобретения, грозя в противном случае донести обо всем, что произошло на Улице капуцинов. Не скрывает того, что вся эта история сообщена тобою. Тон грубый, как, наверное, груб сам этот человек... Назначает мне срок ответа послезавтра, не позднее 8 часов вечера...

— Что же ты думаешь делать? — робко спросил Глисс...

— Ну, вот и Березовая аллея, — как бы не замечая вопроса, произнес Сандерс. — Будь здоров, Глисс, — и, не подавая руки, резко повернул направо.

«Ну, а дальше что?» — думал Глисс, провожая глазами высокую, слегка сгорбленную фигуру, свинцовым шагом уходящую в мглу ночи...

— Все-таки я думал, что встреча будет тяжелее... — с облегчением вздохнул он, раздеваясь у себя в номере на ночь.

Когда утром он выходил из дверей вестибюля, портье подал ему телеграмму:

«Завтра восемь вечера вокзальная семь».

.

— К сожалению, сегодня я не могу угостить тебя тем милым обществом, какое ты встретил у меня в тот так памятный нам обоим день, — сказал Сандерс, встречая Глисса. — Тебе придется удовольствоваться мной и твоим приятелем, — виноват, знакомым, — Клеем. Его еще нет, — немного странно для человека, назначающего сроки...

Глисс оглянулся. Они находились в пустой, похожей на небольшой зал комнате. Впереди стояло три стула, а перед ними был натянут полотняный экран. В противоположном конце комнаты чернела приподнятая над полом будка, к которой вело несколько ступеней.

— Никак, я попал в кинематограф, — сказал Глисс.

— Вот именно, — кивнул головой Сандерс. — Ты сам понимаешь, что сегодня не нужно ни музыки, ни сердечных припадков. Я честно продемонстрирую твоему... знакомому Клею мое изобретение без всяких мистификаций. А вот и мой кино-механик.

Из будки вылезло взлохмаченное существо весьма неопрятного вида, и Глисс с изумлением узнал в нем Чиллепса.

— Ну, маэстро, — сказал Сандерс, — лезьте обратно в будку и приготовьте все для сеанса. Выньте углубитель, намотайте на катушку заснятый вчера фильм, — одним словом, чтобы все было в порядке. По правде сказать, — говорил Сандерс, когда Чиллепс скрылся в будке, — бедняга был немного влюблен в Мод. Поэтому он высказал Мод свое мнение о ней, был близок к самоубийству, а затем предался мне почти всей душой. Говорю «почти», потому что оставшийся кусочек уделил вину... Музыку свою, конечно, забросил... А вот и Клей...

И он вышел на звонок в переднюю.

Глисс сел на один из приготовленных стульев, решив всем своим дальнейшим поведением показать, что между ним и Клеем не может быть ничего общего...

— Прежде чем начать демонстрацию, я должен в общих чертах познакомить вас с сущностью моего изобретения, — говорил Сандерс, входя вместе с Клеем в комнату, таким ровным, официальным тоном, что Глисс позавидовал его самообладанию. — Повторяю — в общих чертах, потому что вы не механик, а только друг человечества...

Клей удивленно поднял брови...

— Я не совсем понимаю ваше последнее выражение, — сказал он, настораживаясь.

— Странно, что не понимаете, — пожал плечами Сандерс. — Кем же, как не другом человечества, можно называть лицо, которое хочет подарить этому самому человечеству изобретение, так нелепо скрываемое вашим покорным слугой... Нет, нет, не отказывайтесь от этого высокого звания, оно вполне достойно вас! — едко закончил Сандерс.

— Мой поступок был мне подсказан совестью, — внушительно ответил Клей...

— Ясно, как апельсин, — поддакнул с усмешкой Сандерс. — Итак, джентльмены, приступим! Маэстро, подайте сюда футляр.

Чиллепс спустился с лесенки, держа перед собою на вытянутых руках небольшой дубовый ящичек.

— В этом футляре, — сказал Сандерс, принимая из рук Чиллепса ящичек, — находится сердце моего изобретения...

Он раскрыл его... В углублении темно-фиолетового бархата лежала блестящая никелированная трубка в форме усеченного конуса с вделанной в нее сбоку трехгранной призмой.

— Современное общеизвестное кино не может давать полной иллюзии натуры по следующим причинам, — продолжал Сандерс, — во-первых, оно беззвучно. Правда, за последнее время появилось несколько аппаратов, которые записывают и воспроизводят звук. Но все они имеют общий недостаток, заключающийся в том, что звук не всегда связан с движением, а кроме того, отсутствует так называемая звуковая перспектива, которая создает совершенно необходимое там, где оно нужно, впечатление отдаленности или близости звука. Одна из частей моего прибора бе-

рет на себя эту задачу — воспроизводит акустически то расстояние, откуда несется звук при его записи. Другая часть аппарата разрешает оптические задачи. Вы, конечно, знаете, что обыкновенное кино дает плоскостные изображения, в которых стереоскопичность, т. е. отдаленность предметов друг от друга, угадывается лишь по их формам и движениям; вот здесь находится прибор, который дает изображению пластичность. Вследствие того, что обе только что объясненные мною части смонтированы вместе и преследуют сходные цели — дать впечатление глубины как в звуковом, так и в оптическом отношении, я присвоил всему прибору название «углубителя». Более подробное объяснение я дать здесь не могу; я думаю, вы, Клей, озаботитесь созывом специальной комиссии из компетентных людей, которая и рассмотрит более детально мое изобретение. Вот, кажется, все. Остается только добавить, что другие условия иллюзии, как-то: натуральность окраски и отсутствие мелькания, разрешены мной в силу их сравнительной простоты довольно легко... Маэстро, примите футляр и приготовьте ленту... А вас прошу садиться.

Глисс и Клей сели, а Сандерс подошел к выключателю и потушил свет, затем в темноте пробрался к свободному стулу и сел рядом с Глиссом.

Экран ожил. Открылась небольшая комната с диваном посередине у задней стены и несколькими креслами по бокам. На диване сидел Сандерс.

— Я очень сожалею, что приходится опять угощать тебя своей персоной, но ничего не поделаешь, потерпи, — сказал Сандерс, сидящий рядом с Глиссом.

— Мне очень жаль, что приходится демонстрировать самого себя, но что же делать, потерпите, — сказал Сандерс, сидящий на диване. — Я позволю себе произнести маленькую речь. Клей, вы хорошо меня слышите?

— Да, — безотчетно ответил Клей.

— Вот это я понимаю! — усмехнулся Сандерс, сидящий с Глиссом. — Макбет, беседующий с духом Банко...

Клей смутился и недовольно кашлянул.

— ...Так вот, Клей, — я хочу сказать вам, что вы играли наверняка... В другое время не стоило бы давать вам лишних козырей в руки, но теперь мне все равно... Я представляю себе, чтобы было, если бы я отказался выдать вам свое изобретение: вы бы воскресили дело Альфонса Леони, недаром вы ухитрились достать — я знаю это — старые фотографии моей спальни в доме на Овальной площади, когда в ней еще не было винтовой лестницы во второй этаж, и сфотографировали недавно эту же спальню, но уже с лестницей...

— Это неправда! — запротестовал Клей.

— Не лгите, Клей, — печально ответил Сандерс, сидящий рядом с Глиссом, — у меня тоже есть свидетели...

— ...Недаром вы, — продолжал Сандерс, вставая с дивана и делая два-три шага вперед, — побывали у моей бывшей жены Мод и выпытали у нее признание... Вы ведь свидетель этому, Чиллепс?

— Да, и могу поклясться! — ответил из будки маэстро.

— Будем рассуждать дальше, — продолжал Сандерс на экране... — вот мое изобретение отдано вам и обнародовано... Что должно произойти?.. Опять найдутся люди, которые сумеют сопоставить эффект, даваемый моим кино, с почти забытым, но в свое время сильно взволновавшим общество случаем на Улице капуцинов... Пойдут разговоры, которые превратятся в догадки... догадки породят вопросы, очные ставки, всю ту душу выворачивающую прелюдию, без которой не обходится ни один судебный процесс. И всплывет опять та же лестница и опять мою некогда верную супругу припрут к стене... Значит — суд, значит — тюрьма... Значит — отдать свое изобретение я могу только ценой своей свободы, значит, по милости вашей, Клей, я превращусь опять в ночного убийцу, наносящего удары сзади по убегающему...

— Довольно демонстрации! — сказал, вставая, Клей, — что изобретение замечательно, мы убедились, остальное несущественно, — жестко dokonчил он...

— Одну минутку, Клей, — строго заметил Сандерс, сидящий рядом с Глиссом, — Чиллепс, не останавливайте!

— С этим я примириться не мог, — задумчиво продолжал на экране Сандерс, — и нашел единственный выход, приемлемый для меня... Прощайте, друг человечества, от всей души желаю вам до конца дней ваших сохранить ту невозмутимость духа, ту прямолинейность в делах ваших, ту неуязвимость сердца, которыми обладаете вы... Прощайте, Чиллепс, прощай и ты, мой искренний, но слишком общительный друг!..

...И Глисс услышал рядом с собой шум сползающего тела, потом глухой удар об пол...

— Как видите, Клей, совсем не страшно, — грустно улыбаясь, закончил на экране Сандерс, и зал погрузился во тьму...

А когда Клей повернул выключатель, Глисс увидел, что Сандерсу безразличны теперь и тюрьма и его изобретение...

Случай Позднякова

Подобно ряду других советских писателей-фантастов двадцатых годов, В. Поздняков остается сплошным белым пятном. Как биография, так и его полное имя, а также правильное написание фамилии или псевдонима остаются неизвестными. В библиографических указателях укоренилось написание «Поздняков», однако три из его сохранившихся фантастических рассказов подписаны «Позняков». Эти рассказы можно пересчитать по пальцам одной руки – их ровно пять.

Все рассказы Позднякова были опубликованы в ленинградском журнале «Вокруг света» в 1928-1929 гг. В связи с этим обращает на себя внимание удивительная редакционная отзывчивость: журнал печатал безвестного автора не просто охотно, а с какой-то лихорадочной частотой. Первый рассказ Позднякова, «Черный конус», появился в №№ 7-8 за 1928 год, далее последовали «Кубок майора Косицына» (№ 12) и «Элитерий» (№ 24); с продолжениями, в трех номерах, был опубликован в том же году «Кратер Коперника» (№№ 36-38). Последний рассказ, «Случай на улице Капуцинов», был напечатан в двойном номере 17-18 за 1929 г.

Невольно приходит на ум, что Поздняков был неким выступавшим под псевдонимом и весьма приближенным к редакции «Вокруг света» автором. Но как бы то ни было, энтузиазм редакции был вполне оправдан: Поздняков писал довольно качественно, занимательно и изобретательно, уверенно выстраивая свои произведения в духе переводной научной фантастики. В своих рассказах он успел перебрать многие фантастические темы и поджанры. Даже неполный их перечень поражает разнообразием: безумный ученый-изобретатель, сверхоружие («Черный конус»), «палеоконтакт» («Кубок майора Косицына»), палеофантастика («Элитерий»), грядущая мировая война, фантастика космическая («Кратер Коперника») и детективная («Случай на улице Капуцинов»). Добавим к этому неожиданные фабульные повороты и моменты предвидения – в рассказе «Кратер Коперника», к примеру, мировая война отнесена к 1940-м годам, немецкие войска оккупируют Париж и, как позднее доблестные совет-

ские чекисты, используют «глушилки» для борьбы с «вражескими радиоголосами».

Отличительной чертой Позднякова является неизбывный пессимизм: ни в одной его вещи нет «хэппи-энда». Послание цивилизации селенитов прибывает на Землю мелового периода, затем чудом сохранившийся инопланетный артефакт уничтожают тупые крестьяне и мастеровые и пропойца-офицер (так изображен у Позднякова раненый в бою и дошедший до Франции герой наполеоновских войн); Луна тем временем превращается в «гигантское кладбище». Творцы небывалых изобретений и великие первооткрыватели разоблачаются как убийцы и мошенники, их жизненный путь неизменно кончается крахом. В лучшем рассказе Позднякова, «Кратер Коперника», бессмысленная мировая резня добирается и до тщательно выстроенной и описанной автором «башни из слоновой кости», международной обсерватории на Эвересте. Сцены всемирной бойни и гибели чудесной обсерватории контрастируют с величественными картинами инопланетной колонизации Луны, но картины эти кажутся горячечными видениями гибнущих ученых, которые не успевают оставить никаких записей о своем открытии... Особняком, на первый взгляд, стоит рассказ «Черный конус»: здесь обезумевший от горя, потерявший на войне двух сыновей профессор Шольп, изобретатель смертоубийственного оружия, благополучно бежит в Советский Союз. Бежит – но прежде истребляет огню не толстосумов, а тысячи невинных людей. Поздняков сгущает краски, допуская намеренный анахронизм – профессора допрашивает не ОГПУ, а ЧК. В рассказе, соотнесенном с советской «героической» фантастикой «последнего и решительного боя» с мировым капитализмом, слова Шольпа о «руках, которые не используют его (изобретение – *М.Ф.*) для завоевательных целей» звучат издевательски, а последняя фраза профессора – откровенно злое: «Теперь я ваш, джентльмены!»

Этот мрачный взгляд на человечество распространяется и на второстепенных, служебных персонажей. В «Кратере Коперника» гибнут прелестные дочери астронома Журбо, в «Черном конусе» погибает голубоглазая девушка из музея (которую по всем канонам фантастическо-приключенческого жанра полагалось бы спасти); сын Шольпа вынужден покинуть дом, Глисс (рассказчик в «Случае на бульваре Капуцинов») ради красного словца предает друга, его приятель Клей оказывается шантажистом; старик Косицын, понявший значение инопланетного «кубка» («Кубок майора Косицына»), обречен на непонимание и насмешки

и т.д. В последнем случае судьбу артефакта не спишешь на «гримасы капитализма»: действие происходит в СССР, но долгожданные крики о немедленной передаче «кубка» в руки почтенных ученых из Академии наук или экспедиции на Луну для исследования селенитских руин так и не раздаются в финале. Словом, и в стране советской что-то прогнило, подобно мастеру Андерсону из «Черного конуса», хрестоматийному великану-трудыге и, видимо, скрытому коммунисту: не кто иной, как этот добродушный и преданный гигант, «золотое сердце, нежный друг и строгий судья», убеждает профессора Шольпа сохранить смертоносный аппарат и передать его в «чистые руки» чекистов, попутно поощряя (если не вдохновляя) истребление невинных. Какова бы ни была идеология или причины «классовой и политической ненависти», практически открыто говорит автор в «Кратере Коперника», человеческую природу не изменишь.

С чем связано резкое исчезновение Позднякова с журнальных страниц? Возможно, он в чем-то разошелся с редакцией или понял, что там, куда бодрым шагом марширует страна, для его фантастики места нет. Быть может, он просто решил, что сказал все, что хотел.

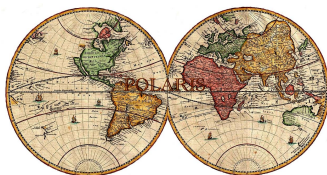


Все произведения В. Позднякова публикуются по первоизданиям с сохранением оригинальных иллюстраций и примечаний. Исправлены очевидные опечатки и некоторые устаревшие особенности орфографии и пунктуации; в рассказе «Кратер Коперника» унифицирована и исправлена нумерация глав.

Оглавление

Черный конус	5
Кубок майора Косицына	35
Элитерий	51
Кратер Коперника	70
Случай на улице Капуцинов	110
<i>М. Фоменко. Случай Позднякова</i>	140

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.